



A. Pyramus

Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии `Жизнь замечательных людей`, осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют свою ценность и по сей день. Писавшиеся `для простых людей`, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- [А. М. Скабичевский](#)
 - [ГЛАВА I. ДЕТСТВО ПУШКИНА И ПЕРВЫЕ ПРОБЛЕСКИ ДАРОВАНИЯ. 1799-1811](#)
 - [ГЛАВА II. ЛИЦЕЙСКИЕ ГОДЫ А. С. ПУШКИНА 1811-1817](#)
 - [ГЛАВА III. ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А. С. ПУШКИНА В С.-ПЕТЕРБУРГЕ 1818-1820](#)
 - [ГЛАВА IV. ПРЕБЫВАНИЕ А.С. ПУШКИНА НА ЮГЕ](#)
 - [ГЛАВА V. А.С. ПУШКИН В СЕЛЕ МИХАЙЛОВСКОМ 1824-1826](#)
 - [ГЛАВА VI. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ХОЛОСТОЙ ЖИЗНИ А.С. ПУШКИНА 1826-1831](#)
 - [ГЛАВА VII...ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ ПУШКИНА 1831-1837](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)

- [12](#)
- [13](#)



А. М. Скабичевский
Пушкин. Его жизнь и литературная
деятельность

*Биографический очерк А. М. Скабичевского.
С 15 портретами Пушкина и многими
рисунками.*

ГЛАВА I. ДЕТСТВО ПУШКИНА И ПЕРВЫЕ ПРОБЛЕСКИ ДАРОВАНИЯ. 1799-1811

Со стороны отца А.С. Пушкин принадлежал к древнему дворянскому роду, упоминаемому в летописях со времен Иоанна Грозного, причем с наибольшим уважением относился поэт к предку своему Григорию Гавриловичу Пушкину, служившему при царе Алексее Михайловиче послом в Польше, с титулом нижегородского наместника. От него-то и произошел Пушкин по прямой линии.

Мать Пушкина была внучкой Ибрагима Ганнибала, прославленного поэтом “Арапа Петра Великого”. Но надо заметить, что, из тщеславия перед столичною знатью, Пушкин слишком разукрасил как происхождение, так и положение при дворе Петра своего черного предка. Пушкин рисует его человеком в своем роде знатного происхождения из рода влиятельных абиссинских князей; свидетельствует о том, что, взятый из Константинополя, где он был аманатом,^[1] Ибрагим был препровожден к Петру русским посланником; Петр его сам крестил, воспитал, сделал потом любимым своим камердинером и секретарем, послал за границу, где, не жалея денег на его содержание, доставил ему возможность блистать в высшем парижском обществе, а когда он вернулся в Россию, государь выехал ему навстречу за 28 верст. На самом же деле Ибрагим вместе с несколькими другими арапчонками, столь же темного происхождения, как и он сам, был выкраден из константинопольского гарема русским посланником и препровожден Петру как любителю всякого рода “курьезов” и “монстров”, так как в то время было в большой моде у нас содержать среди дворни инородцев: арапов, калмыков, турчат и т. п. Он действительно был воспитан при дворе Петра и затем послан в Париж, где записался во французскую инженерную школу, совершил поход в Испанию, но не только не имел возможности блистать в высшем обществе, а во все время пребывания за границей проживал в крайней бедности. Из его писем видно, что, назначив ему на содержание всего двести сорок франков в год, Петр часто совсем забывал о существовании своего арапа и не всегда выплачивал ему аккуратно жалованье. По крайней мере в письмах Ибрагим постоянно жалуется на крайнюю бедность и просит “не учинить его

отчаянным” и не дать “пропасть в нищете”. Из Парижа его “выгоняли” в Россию “как собаку, без денег”, по его выражению, и он был в таком беспомощном положении, что собирался идти пешком, и “ежели не достанет жалованья, то милостыню будет просить дорогою”. Возвратился он в свите князя В.Л. Долгорукова, который очень им тяготился и не хотел кормить дорогою, так что Ганнибал выражал опасение, “как бы ему с голоду не умереть”...



А.П. Ганнибал – дед поэта со стороны матери

Нраву он был жестокого и крутого. Женившись насильно на дочери флотского капитана, грека Диопера, и заподозрив жену в неверности, он ее бесчеловечно пытал и истязал; потом, пользуясь связями, выхлопотал развод, заточил жену в монастырь, а сам женился на другой, дочери капитана Христине Шеберг. От этого брака родилось у него шестеро детей: четыре сына и две дочери. Из них наиболее прославился сын Иван Абрамович, как один из участников и героев Наваринской битвы и основатель Херсона, где ему был воздвигнут памятник.

Совсем иных свойств был другой сын Ибрагима, Осип. Служа в артиллерии, сначала сухопутной, потом морской, он отличался пылким темпераментом и необузданным нравом и до такой степени был предан

всякого рода диким увлечениям и излишествами, что сделался ужасом семьи, и отец долго не пускал его на глаза свои. Женившись затем на Марье Алексеевне Пушкиной, он скоро разошелся с нею, и в Пскове, служа по выборам, сказавшись вдовцом, обвенчался, при живой жене, на вдове капитана У. Е. Толстой. Результатом этого двоеженства был уголовный процесс, кончившийся тем, что Осипа Абрамовича высочайшей резолюцией 1784 года развели со второю женою, утвердивши первый брак его, и сослали на службу в Средиземное море, а затем он был сослан на жительство в свое имение, село Михайловское, где и пребывал до своей смерти.

От Марьи Алексеевны у Осипа Абрамовича родилась дочь Надежда. По смерти мужа Марья Алексеевна, женщина энергическая, практическая и опытная хозяйка, проживала в доставшемся ей от мужа сельце Кобрине (Петербургской губернии) и, тщательно воспитывая дочь, вывозила ее в свет в самое утонченное высшее петербургское общество, пользуясь положением и связями дяди ее и крестного отца, Ивана Абрамовича. Здесь молодая, красивая креолка, избалованная с детства лестью и потворствами, капризная, пылкая, властолюбивая, имела успех и, между прочим, пленила сердце блиставшего в светских кругах утонченным французским образованием гвардейского офицера Сергея Львовича Пушкина.



Н.О. Пушкина – мать поэта



С.Л. Пушкин – отец поэта

Братья Пушкины – Сергей и Василий Львовичи – представляли собою типы передовых дворян того времени: писали стихи, знали много умных изречений и острых слов из старого и нового периода французской литературы и смело рассуждали о чем угодно с голоса французских энциклопедистов, впечатлясь последней прочитанной книжкой и на лету подхваченным суждением. Василий Львович был известен в литературе как один из “арзамасцев”, принятый в это общество Жуковским, и как автор сатиры “Опасный сосед”. В течение 25 лет непрерывно вращался он в литературных кружках и умер с книжкою Беранже в руках. Сергей Львович, в свою очередь, постоянно гонялся за разными знаменитостями, русскими и иностранными. Дом его в Москве был посещаем членами того блестящего литературного круга, который в начале столетия образовался там около Карамзина; в числе друзей и знакомых дома встречались самые почтенные имена того времени – Жуковский, Тургенев, Дмитриев и прочие, вместе с именами заезжих эмигрантов, туристов, артистов и т. п. Вращаясь в светских и литературных кругах и ведя рассеянную и чисто праздную жизнь, братья поражали современников своей крайнею беспечностью. Это были бонвиваны^[2] эпохи регентства на подкладке русской распущенности.

В положение своих дел они не вникали, деревенскую жизнь ненавидели; дом их, по словам одного очевидца того времени, всегда был наизнанку: в одной комнате богатая, старинная мебель, в другой – пустые стены или соломенный стул; многочисленная, но оборванная и пьяная дворня с баснословною неопрятностью; ветхие рыдваны с тощими клячами и вечный недостаток во всем, начиная от денег до последнего стакана. Имена же их находились в таком плачевном состоянии, что когда для спасения Болдина послан был туда деятельный управляющий, он бежал из имения при виде страшного разорения крестьян, до которого они были доведены беспечностью и передовыми стремлениями помещика.

Но какова бы ни была изнанка жизни братьев Пушкиных, с внешней стороны они были так блестящи, и Сергей Львович так сумел пленить старого наваринского героя, Ивана Абрамовича Ганнибала, что тот без долгих колебаний решился отдать за него свою племянницу и крестницу, Надежду Осиповну, промолвя: “Он не очень богат, но образован”.

После брака и рождения первой дочери Ольги Сергей Львович, по заведенному тогда порядку, вышел в отставку и уехал в Москву на покой. После того, вплоть до нашествия французов, Пушкины жили попеременно то в Москве, то в своей подмосковной деревне, Захарьине. И вот в 1799 году, 26 мая, в четверг, в день Вознесения, в Москве на Молчановке родился у них сын Александр.

До семилетнего возраста Пушкин не только не представлял из себя чего-либо замечательного, но, напротив того, своею неповоротливостью, тучностью, робостью и неподвижностью приводил в отчаяние своих родителей, и они серьезно опасались даже за его умственные способности. Заставить его бегать и играть со сверстниками можно было лишь насильно. Раз на прогулке он незаметно отстал от общества и преспокойно уселся посреди улицы. Сидел он так до тех пор, пока не заметил, что из одного дома кто-то смотрит на него и смеется. “Ну, нечего скалить зубы!” – сказал он с досадою и отправился домой.

Когда настойчивые требования быть поживее превосходили меру терпения ребенка, он убегал к бабушке, Марье Алексеевне Ганнибал, залезал в ее корзинку и подолгу смотрел на ее работу. В этом убежище уже никто не тревожил его.

Вследствие этого ему не пришлось быть любимым и балованным сыном своей матери. Напротив того, Надежда Осиповна выказывала открытое предпочтение старшей дочери Ольге и младшему сыну Льву. Это обстоятельство, однако же, имело впоследствии благодетельное влияние на Пушкина. Не избалованный в детстве излишними угождениями, он легко

переносил лишения и рано привык к мысли искать опоры в самом себе.



Пушкин – мальчик

Единственными друзьями его раннего детства были бабушка Марья Алексеевна и знаменитая, воспетая им впоследствии, нянюшка Арина Родионовна. Марья Алексеевна была женщина замечательная, бывалая, прошедшая сквозь огонь и воду после разлуки со своим мужем и отличавшаяся не только опытностью, но и здравым смыслом. Нянюшка Арина Родионовна, представлявшая из себя тип старинных, преданных барских слуг, отказавшаяся от предложенной ей отпускной за себя и за своих родных, поражала знанием народной поэзии: ей известен был весь сказочный мир и она передавала его чрезвычайно оригинально. Поговорки, пословицы, присказки не сходили у нее с языка. Большую часть народных былин и песен, которых Пушкин так много знал, слышал он от Арины Родионовны. Таким образом, этим двум женщинам обязан был Пушкин наиболее поэтическими элементами своей музыки: в то время как Арина Родионовна раскрывала перед ним сокровища народного эпоса, Марья Алексеевна увлекала его своими рассказами о старине и о своих молодых, полных приключений годах в исторический мир старых дворянских преданий и нравов XVIII столетия.

На седьмом году с мальчиком произошел внезапный переворот: из вялого и неповоротливого он вдруг сделался развязным, резвым, шаловливым. Няню и бабушку, успевшую выучить ребенка грамоте, сменили по общему обычаю того времени иностранные гувернеры и

учителя. Кроме священника Беликова и еще другого, обучавших Пушкина закону Божию и некоторым другим предметам, все остальные наставники были иностранцы: первым был французский эмигрант граф Монфор, музыкант и живописец; потом Руссо, хорошо писавший французские стихи; далее Шадель и прочие. Немецкому языку, не любимому Пушкиным в детстве, учила г-жа Лорж, английскому – гувернантка мисс Бели. Был еще учитель, немец Шиллер, обучавший и русскому языку. Учение шло довольно беспорядочно вследствие частой смены преподавателей и не всегда удачного выбора их. Обладая счастливой памятью, Пушкин выучивал уроки лишь слушая, как отвечала их его сестра; когда же первого спрашивали его, ему приходилось ограничиваться постыдным молчанием. Кроме немецкого языка он недолюбливал и арифметику, над которой пролил немало слез, – особенно не давалось ему деление. Зато французский язык, при непрерывном упражнении и в классах, и в разговорах между собою, усвоен был отлично, и впоследствии Пушкин владел им, как своим родным. Знаменитый граф Алексей Сен-При говорил, что слог французских писем Пушкина сделал бы честь любому французскому писателю. По-итальянски Пушкин выучился также в детстве: отец его и дядя отлично знали этот язык.

С девяти лет начала развиваться в Пушкине страсть к чтению, не покидавшая его всю жизнь. Он прочел сперва Плутарха, потом Гомера в переводе Битобе, потом приступил к библиотеке своего отца, состоявшей из эротических произведений французских писателей XVIII века, а также Вольтера, Руссо, энциклопедистов. Сергей Львович поддерживал в детях расположение к чтению и вместе с ними читывал избранные сочинения.

Говорят, он особенно мастерски передавал Мольера, которого знал почти наизусть. Напролет целые ночи проводил Пушкин за чтением книг, попадавшихся ему в руки.

К этому следует присоединить влияние тех литературных и политических разговоров, которые непрестанно велись в гостиной Сергея Львовича образованнейшими людьми того времени, причем детям позволялось беспрепятственно присутствовать при этих разговорах, лишь бы они не вмешивались в речи старших. Наконец в доме устраивали домашние спектакли и всякого рода jeux d'esprit,^[3] в которых участвовали и дети. Все это, вместе взятое, сильно влияло на умственные способности восприимчивого и талантливого ребенка и влекло к очень раннему развитию их. При таких условиях нет ничего удивительного, что первые опыты в стихотворстве появились у Пушкина очень рано, на 12-м году. Началось дело, по обыкновению, с подражаний. “Любимым упражнением

Пушкина, по словам сестры его, сначала было импровизировать маленькие комедии и самому разыгрывать их перед сестрою, которая в этом случае составляла публику и произносила свой суд”. Однажды как-то она освистала его пьеску “Escamoteur”. Он не обиделся и сам на себя написал следующую эпиграмму:

Dis moi, pourquoi l'Escamoteur
Est-il sifflé par le parterre?
Hélas-c'est que pauvre auteur
L'escamota de Molière.

то есть: “Скажи, за что партер освистал моего “Похитителя”? увы, за то, что бедный автор похитил его у Мольера”. Ознакомившись с Лафонтеном, Пушкин стал писать басни. Начитавшись “Генриады”, он задумал шуточную поэму, содержание которой заключалось в войне между карлами и карлицами во времена Дагобера. Гувернантка похитила тетрадку поэта и отдала Шаделю, жалуясь, что М. Alexandre за подобными вздорами забывает о своих уроках. Шадель расхохотался при первых стихах. Раздраженный автор тут же бросил свое произведение в печку. Макаров рассказывает о стыде и замешательстве Пушкина, когда в доме графа Бутурлина, вследствие молвы о поэтических его дарованиях, к нему приступили все жившие там девушки с альбомами и просьбами написать что-нибудь. Какой-то господин прочел русское четверостишие Пушкина и, для большей торжественности, ударял на “о”. Мальчик только успел сказать “Ah, mon Dieu!”^[4] – и убежал без памяти в библиотеку графа, где долго еще не мог прийти в себя.

К этому ко всему следует заметить, что большинство первых стихотворных опытов Пушкина было написано им на французском языке, из чего можно заключить, что в эту пору детства родным языком поэта, на котором он и думал и писал, был французский.

ГЛАВА II. ЛИЦЕЙСКИЕ ГОДЫ А. С. ПУШКИНА 1811-1817

В то время, как в первые годы своей жизни Пушкин тревожил своих родителей вялостью и неподвижностью, в последующие, наоборот, он привел их к опасениям за его будущее неукротимой пылкостью страстного темперамента. Напрасно воспитатели, по большей части плохие, старались обуздать эту вулканическую натуру; добиваясь одного наружного повиновения и употребляя для этой цели пошлые и рутинные меры строгости, они не только не достигли никаких результатов, но встретили в мальчике отчаянное сопротивление, ежеминутно разрушавшее все их усилия. К такому же отпору приводили увещевания и требования родителей, сопровождаемые вспышками гнева и тщетными угрозами с их стороны. И вот, как это всегда бывает при подобных обстоятельствах, у родителей составилось мнение о сыне как о натуре извращенной, как о вырожденке, которого ожидает печальная будущность. Единственную надежду начали они питать на удаление его из родительского дома в какое-либо закрытое заведение, где могли бы обуздать его чужие люди суровыми мерами строгости. Долго колебались они между двумя модными в то время заведениями: иезуитским коллегиумом и частным пансионом, устроенным аббатом Никодем и находившимся в то время в ведении аббата Макара. Наконец порешили в пользу иезуитского коллегиума и отправились уже в Петербург хлопотать о поступлении сына туда, как вдруг учреждение Царскосельского лицея совершенно изменило планы их. Директором лицея был назначен В. Ф. Малиновский, с которым Сергей Львович был в дружеских отношениях. При помощи его, а особенно при содействии А. И. Тургенева, двенадцатилетний Пушкин был принят в числе 30 воспитанников, из которых должен был состоять лицей.



Пушкин – лицеист

По единогласному свидетельству всех знавших внутреннюю жизнь семьи Пушкиных, юноша покидал родительский дом без малейшего сожаления; со своей стороны и семья провожала его холодно, словно сваливая с плеч тяжелую обузу. Исключение составляла лишь сестра Пушкина, к которой он был привязан, и лишь с нею одним прощался он с грустью.

Василий Львович привез племянника в Петербург и держал его у себя в доме все время, пока он приготавливался к экзамену. 12 августа 1811 года Пушкин, вместе с Дельвигом, выдержал приемный экзамен и поступил в лицей; 19 же октября последовало торжественное открытие лицея, и после того начались лекции.

На лицей, при его основании, возлагали большие надежды, предполагали сделать его образцом высших учебных заведений, поставить на одном уровне с наполеоновскими Lycées и английскими Colleges. Лучшие и самые передовые светила науки и педагоги того времени были избраны преподавателями лицея, каковы А. П. Куницын, Л. И. Карцев, И. К. Кайдонов, потом А.И. Галич и др.

Но быстрое охлаждение к делу и распущенность, эти два неизменные качества, сопровождающие все российские предприятия, не замедлили сказаться и здесь. После смерти в 1814 году первого директора лицея, В. Ф.

Малиновского, лицей без малого два года состоял под управлением профессоров, которые поочередно вступали в директорство, мешали друг другу, беспрестанно ссорились между собою, и для обуздания их оказалось нужным поместить в звание сперва инспектора классов, а потом и директора, военного человека аракчеевской школы, отставного подполковника С. С. Фролова, принявшегося за дело круто, чисто пофельдфебельски, но скоро уволенного и оставившего после себя массу шутовских воспоминаний.

Весь этот период, до назначения директором Е. А. Энгельгардта, Пушкин называет временем анархии, а другие его товарищи – междуцарствием. Преподаватели, в свою очередь, на второй же год спустили рукава: Куницын начал ограничиваться требованием буквальной выучки своих тетрадей, и его упрекали вообще в наклонности к ленивому, апатичному существованию. Кошанский, читавший древние языки и русскую словесность, в первый год увлекал слушателей своими беседами о великих образцах древности и тщательно поправлял упражнения учеников в слоге, но на второй год запил и совсем бросил преподавание. Математик Карцев, будучи от природы юмористом и видя общее нерасположение к математике воспитанников, занимался на уроках выслушиванием лицейских анекдотов и остроумною болтовнёю. Добродушный и слабый Галич, заменивший Кошанского, до такой степени был оседлан своими воспитанниками, что допускал устройство тайных студенческих попок в отведенной ему в лицее аудитории.

При таких порядках воспитанники были вполне предоставлены самим себе. Учебные занятия не особенно обременяли их; знания, требуемые по программе, достигались легко, а в случае недостатка ловко маскировались подставными вопросами и ответами, выбранными с общего согласия учителей и учеников. У воспитанников, таким образом, оставалась масса праздного времени, в которое они разгуливали свободно по всему лицейскому и царскосельскому саду, заводя любовные интрижки с горничными и крепостными актрисами домашнего театра графа Варфоломея Васильевича Толстого. “Наташа”, которой посвящено одно или два лицейских стихотворения Пушкина, принадлежала к лицейским нянюшкам; пьесы “К актрисе” и “Ты не наследница Клерон” обращены к крепостной актрисе. От кутежей между собою в стенах лицея воспитанники в старших классах перешли к кутежам с гвардейцами и вообще золотою молодежью, проживавшею летом в Царском Селе на дачах. Изредка они устраивали школьные бунты и протесты; так, они изгнали из заведения инспектора М. Ст. Пилецкого-Урбановича, ожесточившего воспитанников своею

религиозною навязчивостью, презрительными отзывами о семействах своих питомцев и иезуитским обращением, скрывавшим под личиной снисхождения много жестокости и коварства.

Нужно ли после этого удивляться той малоуспешности, которую обнаружил Пушкин на экзаменах, и тому, что в аттестате его даже по русскому языку значится посредственная отметка? Но из этого не следует, чтобы так уж совсем ничем и не был обязан он лицею. Кое-что запало в голову воспитанников от лекций Куницына и Кошанского. Немало влияния оказали на них, по свидетельству М. А. Корфа, беседы учителя французской словесности де Бужи, брата Марата; он весьма способствовал укреплению мыслительных сил в воспитанниках, постоянно стараясь приучать их к отчетливому представлению и изложению того, что они слышали, видели и что возникло в их голове. Но наиболее обязан был Пушкин лицею богатою библиотекою, пользование которой было предоставлено воспитанникам без малейших ограничений.

Имея массу свободного времени и предоставленный вполне самому себе, с жаром набросился Пушкин на книги лицейской библиотеки; дни и ночи читал он без отдыха, причем более всего интересовали его книги по истории и французской словесности. Напрасно Дельвиг старался приохотить его к изучению немецкой литературы; Пушкин покинул своего товарища на первых попытках ознакомиться с Клопштоком. Товарищи относились к Пушкину сначала несколько неприязненно, видя его умственное превосходство над ними и замечая, что он многое прочел, о чем они и не слыхали, и все, что читал, помнил. Они прозвали его французом за отличное знание французского языка, что очень оскорбляло юношу в эпоху войны 1812 года, при всеобщей ненависти ко всему французскому. Немало в первое время отталкивало от него расположение его к насмешкам и преследованию неприязненных личностей, доводившее иногда многих до детского отчаяния. Но вместе с тем обнаружилось доверчивое и любящее сердце Пушкина и скромность, заставлявшая его не только не кичиться и не важничать перед товарищами своими знаниями и талантами, а, напротив того, показывать, что все научное он не считает ни во что и мастер только бегать, прыгать через стулья, бросать мячик и прочее. При таких качествах характера Пушкин скоро победил неприязнь к себе товарищей и сделался, напротив того, душою класса, а затем коноводом литературного кружка. Этот литературный кружок образовался едва ли не тотчас по открытии лицея; участниками в нем были Дельвиг, Илличевский, Корсаков, князь А. М. Горчаков, барон М. А. Корф, С. Г. Ломоносов, Д. Н. Маслов, Н. Г. Ржевский, В. К. Кюхельбекер, М. Л. Яковлев. Литературные занятия

кружка заключались, во-первых, в издании рукописных журналов, в которых члены помещали свои произведения, а во-вторых – в особенной литературной игре. Составив один общий круг, товарищи обязывали каждого рассказать повесть или, по крайней мере, начать ее. В последнем случае следующий за рассказчиком принимал ее на том месте, где она остановилась, и развивал далее; третий, в свою очередь, продолжал ее и т. д., пока повесть не приходила к окончанию. Дельвиг первенствовал на этой гимнастике воображения; его никогда нельзя было застать врасплох: интриги, завязки и развязки были у него всегда готовы. Пушкин уступал ему в способности придумывать наскоро происшествия и часто прибегал к хитрости. Раз он изложил восхищенным слушателям историю 12 спящих дев, умолчав об источнике, откуда почерпнул ее. Тогда же, в грубых, конечно, чертах, он передал две повести, им самим придуманные: “Метель” и “Выстрел”, которые впоследствии явились в “Повестях Белкина”.

Под влиянием этих литературных игр и занятий кружка Пушкин очень скоро перешел от французских стихов к русским и на первых порах наиболее прославился между товарищами своими колкими и меткими эпиграммами. Н. Ф. Кошанский очень строго отнесся к первым опытам своего ученика, старался отвратить его от попыток сочинительства и только позднее, убедившись в его таланте, с жаром принялся знакомить его с теорией словесности и классическими произведениями древности; но это продолжалось недолго и кончилось с несчастною болезнью наставника, о которой мы выше говорили.

Первые опыты Пушкина, известные под именем “лицейских стихотворений”, носят на себе влияние всех тех писателей, которыми увлекался Пушкин в своем отрочестве. Из русских писателей это были Карамзин, Жуковский и в особенности Батюшков. Последний производил на Пушкина самое сильное впечатление и был главным учителем его в отношении пластичности форм и той тонкой, грациозной, чисто классической гармонии между формой и содержанием, какою наиболее отличился автор “Умиряющего Тасса”. Пушкин высоко ценил даже сходство, какое могут представлять некоторые из собственных его стихов с манерой Батюшкова. Что же касается содержания лицейских стихотворений, то в этом отношении Пушкин подчинился влиянию той школы французских анакреонтических писателей, на которой он был воспитан в родительском доме, каковы Шенье, Шапель, Берни, Грессе, Грекур, Парни. Этим влиянием обуславливается и тот веселый и несколько легкомысленный взгляд на жизнь, и то обилие эротического и вакхического

элементов, какие мы встречаем в лицейских стихотворениях Пушкина. Но как бы ни были расположены смотреть отрицательно на все подобные безделки люди, требующие от поэзии серьезного содержания, нельзя отрицать и некоторой доли благотворного влияния, какое оказали вышеупомянутые писатели на характер поэзии Пушкина: они сразу поставили ее на реальную почву изображения земных, определенных, всеми ощущаемых и каждому знакомых радостей и печалей. Это одно составляло большой шаг вперед от господствовавшего в то время в нашей литературе мистического романтизма с его скорбными томлениями – неизвестно о чем, и порываниями – неизвестно куда.

Первое стихотворение Пушкина, вышедшее в свет, было послание “К другу-Стихотворцу” напечатанное в № 13 “Вестника Европы” с подписью: Александр Н.К.ш.п. Затем, в том же году, появились в том же “Вестнике Европы”, издававшемся Вл. В. Измайловым: “Кольна”, “Венере от Лаисы”, “Опытность” и “Блаженство”. Но наиболее памятный для Пушкина год был 1815-й. С него начинается литературная известность и слава его. В этом году под стихами Пушкина уже находится полное его имя. О нем заговорили.

В январе 1815 года, 4-го и 8-го, в первый раз происходило в лицее торжественное публичное испытание, на которое приехали из Петербурга многие важные государственные люди и ревнители просвещения; между прочим, присутствовал и Державин. Вот как вспоминает Пушкин об этом, глубоко врезавшемся в его память, экзамене: “Державин был очень стар. Он был в мундире и в плисовых сапогах. Экзамен наш очень его утомил: он сидел, поджавши голову рукою; лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвисли. Портрет его – где представлен он в колпаке и халате – очень похож. Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен из русской словесности. Тут он оживился: глаза заблестали, он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостью необыкновенной. Наконец вызвали меня. Я прочел мои “Воспоминания в Царском Селе”, стоя в двух шагах от Державина; голос мой отрочески зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом... Не помню, как я кончил свое чтение; не помню, куда убежал. Державин был в восхищении, он меня требовал, хотел обнять... Меня искали, но не нашли”...

После этого слухи о появлении необыкновенного таланта не замедлили распространиться по Петербургу. Все дивились. На большом обеде у министра народного просвещения, графа Разумовского, о Пушкине шел общий говор. Все предсказывали будущую славу его. Хозяин, обратясь

к Сергею Львовичу, который находился тут же, заметил между прочим: “Я бы желал однако ж образовать сына вашего к прозе”. – “Оставьте его поэтом”, – возразил с жаром Державин.

Столь лестные отзывы, понятно, помирили родителей с их блудным сыном. В то же время Пушкин тогда же сблизился уже с первоклассными писателями того времени: Жуковским, Карамзиным и Батюшковым. Жуковский, бывши в Москве, получил от Василия Львовича стихи Пушкина “Воспоминания в Царском Селе”, отправился к друзьям своим и там, читая их вслух, останавливался на лучших местах и восклицал: “Вот у нас настоящий поэт!” Летом 1815 года, посещая часто Царское Село и читая императрице стихи свои, Жуковский сблизился с Пушкиным и любил его, как родного. Это было время самой громкой славы Жуковского. Три издания “Певца в стане русских воинов” раскупились в один год; “Послание к императору Александру” было принято с восторгом, как выражение общих народных чувств. Друзья носили Жуковского на руках. Вдовствующая императрица, Марья Федоровна, весьма благоволила к нему. И можете себе представить, что этот 32-летний поэт, доживший до полного развития своего таланта и апогея своей славы, до такой степени сразу был увлечен гением Пушкина, что ему, 15-летнему мальчику, сидевшему на школьной скамейке, нарочно читал свои стихи, и если в следующие свидания Пушкин не вспоминал и не повторял их, то Жуковский считал такие стихи слабыми и уничтожал их или переделывал. В то же время с нежным отеческим участием Жуковский радовался блестящим успехам Пушкина, снисходил к его увлечениям, прощал его заносчивость, берег его, заботился о нем. Сам Пушкин впоследствии называл его своим ангелом-хранителем.

К тому же времени относится и сближение Пушкина с Карамзиным. Карамзин и прежде уже, будучи знаком с Сергеем Львовичем и бывая у них в доме, мельком видел талантливую юношу. В феврале 1816 года он привез в Петербург к печати восемь томов “Истории государства Российского” и читал друзьям своим посвящение, которым начинается первый том истории. Пушкин присутствовал при чтении, запомнил все и, пришедши домой, записал от слова до слова, так что посвящение сделалось известно в лицейском кружке гораздо раньше, чем было напечатано. Уже тогда Карамзин познакомился с Пушкиным ближе и успел привлечь его к себе ласкою, одобрениями и участием. Но наибольшее сближение последовало летом в 1816 году, когда Карамзин поселился в Царском Селе. Там, занимаясь продолжением “Истории...” и печатанием первых ее томов, Карамзин приглашал к себе Пушкина, беседовал с ним, и Пушкин имел

возможность слушать “Историю государства Российского” из уст самого историографа. Пушкин горячо полюбил Карамзина и все его семейство и сделался у них домашним человеком. Как и Жуковский, Карамзин любовался молодым поэтом, предостерегал, удерживал, берег его и после спас в одну из решительных минут его жизни.

К этому же периоду относится знакомство и сближение Пушкина с другими передовыми силами русской литературы того времени, каковы И.И. Дмитриев и Батюшков. С Дмитриевым он познакомился через Карамзина; Батюшков был старый друг Сергея Львовича. Наконец тогда же сблизился с Пушкиным и А.И. Тургенев, который до конца жизни оставался с ним в самых приятных отношениях и часто с ним переписывался.

Ранние и быстрые литературные успехи побудили Пушкина еще с большим рвением и страстностью приняться за развитие своего поэтического таланта. Отбывая кое-как школьную науку, negliжируя^[5] и лентясь, в то же время дни и ночи просиживал юноша в своей каморке под № 14, беседуя с музами. Довольно сказать, что в стенах лицея он успел написать около ста двадцати стихотворений и тут же задумал и начал писать первую свою поэму “Руслан и Людмила”. Но так велика была скромность молодого поэта, что и тогда весьма немногие из своих стихотворений он решался посылать в печать, причем сердился и выходил из себя, когда некоторые стихотворения были печатаемы друзьями помимо его ведома. Даже и впоследствии, выпустивши в 1826 году первое издание своих произведений, Пушкин из 120 лицейских стихотворений своих удостоил печати лишь 23 пьесы.

В половине мая 1817 года начались в лицее выпускные экзамены и тянулись 15 дней при многочисленной публике. Посетителям предоставлено было задавать лицеистам вопросы, что дало повод к занимательным ответам и прениям. На экзамене из русской словесности Пушкин читал сочиненное им на этот случай стихотворение “Безверие”, но отвечал плохо и был выпущен 19-м, с чином X класса или гвардии офицером.

ГЛАВА III. ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А. С. ПУШКИНА В С.-ПЕТЕРБУРГЕ 1818-1820

Перед выходом из лицея Пушкин мечтал о военной службе. Незадолго перед тем появившийся Высочайший указ предоставлял право определяться прямо в гвардию офицерами, и 12 товарищей Пушкина тотчас же избрали военное поприще. Жизнь военная и молодому поэту представлялась в самом привлекательном виде. Уже давно он познакомился с нею в кругу квартировавших в Царском Селе офицеров. К тому же, по-видимому, он имел все данные для нее: физическая организация его, крепкая, мускулистая и гибкая, была чрезвычайно развита гимнастическими упражнениями. Он славился как неутомимый ходок пешком, страстный охотник до купанья, езды верхом; отлично дрался на эскадронах,^[6] считаясь чуть ли не первым учеником у известного фехтовального учителя Вальвиля. Пушкину хотелось поступить в лейб-гусары, и один знакомый генерал обещал ему содействие, но не удалось молодому поэту носить военного мундира. Свидание с отцом расстроило все его планы. Сергей Львович наотрез объявил, что не в состоянии содержать сына в гусарском полку, и позволил ему определяться в один из пехотных полков гвардии; но Пушкин не захотел этого и через четыре дня по выходе из лицея записался в министерство иностранных дел, что вполне соответствовало его склонностям: служба эта, будучи номинальною, предоставляла ему много досуга.

По выходе из лицея Пушкин снова вернулся под родительский кров. Родители его жили теперь уже в Петербурге, а на лето уезжали в Псковскую губернию, в родовое свое село Михайловское. Сюда и приехал Пушкин с родными тотчас по выпуске из лицея. “Вышедши из лицея, – говорит Пушкин в своих записках, – я тотчас почти уехал в Псковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался я сельской жизни, русской бане, клубнике и пр., но все это нравилось мне недолго. Я любил и доньше люблю шум и толпу”.

Эта страсть к городской жизни и к толпе, очевидно, была унаследована Пушкиным от своих родителей и особенно от отца. Сергею Львовичу обязан он был и своим тщеславием, страстью тянуться во что бы то ни

стало в высшее светское общество. Страсть эта, сгубившая его впоследствии, не замедлила обнаружиться при первых же шагах его в жизни.

Казалось бы, что и по умственным склонностям Пушкина, и по средствам родителей он должен был вращаться преимущественно в литературной среде, тем более, что в этой среде он с детских лет был принят с участием, лаской и любовью первыми литературными светилами того времени. С первого шага в свет Пушкин очутился в обществе тогдашних литераторов как известный и заслуженный его член. Он почти совсем не был в положении начинающего. Едва выйдя из лицея, он уже осенью 1817 года был принят в члены литературного общества “Арзамас”, вокруг которого группировались все молодые писатели нового романтического направления, ратовавшие против устарелых классиков, которые, в свою очередь, группировались вокруг московского общества “Беседы любителей русского слова” и “Вестника Европы” Каченовского. По обычаю арзамасского общества всем членам давать особенные шуточные прозвища, Пушкина называли *сверчком*, потому что, по выражению одного из арзамасцев, “в некотором отдалении от Петербурга, спрятанный в стенах лицея, прекрасными стихами уже подавал он оттуда свой звонкий голос”. Новый член “Арзамаса” произносил обыкновенно шуточное похвальное слово какому-либо члену враждебной “Беседы любителей русского слова”. Неизвестно, кому произнес похвальное слово Пушкин при вступлении своем, но ему дозволено было сказать речь свою александрийскими стихами, которые, к сожалению, не дошли до нас. К несчастью Пушкина, “Арзамас” скоро рассеялся. Собрание, в котором Пушкин произнес свою речь, было последним, так как члены “Арзамаса” отозваны были из столицы разными обязанностями. Но, кроме “Арзамаса”, в Петербурге было несколько других литературных обществ, кружков и салонов (“Общество любителей словесности, наук и художеств”, “Общество соревнователей просвещения и благотворения”, кружок А.Н. Оленина, вечера В.А. Жуковского), и, хотя Пушкин не принадлежал к некоторым из них, однако же следил внимательно за их занятиями. На вечерах Жуковского читал он песни “Руслана и Людмилы”, подвергая их переделкам под влиянием суждений и приговоров друзей. Известно, что после чтения последней песни Жуковский подарил автору свой портрет, украшенный подписью: “Ученику от побежденного учителя”. Батюшков же, прочтя послание Пушкина к Ф.Ф. Юрьеву, сжал в руках листок бумаги с этим посланием и проговорил: “О! как стал писать этот злодей!”

К этому же времени относится знакомство Пушкина с П.А.

Катениным, этой благороднейшей и замечательной личностью того времени. Пушкин просто пришел в 1818 году к Катенину и, подавая ему свою трость, сказал: “Я пришел к вам, как Диоген к Антисфену: побей – но выучи!” – “Ученого учить – портить!” – отвечал Катенин. С тех пор дружеские связи не прерывались, и Катенин оказывал большое влияние на Пушкина как знаток языков и европейских литератур. Пушкин именно Катенину был обязан осторожностью в оценке иностранных поэтов, умением находить свои достоинства в писателях различных школ и особенно хладнокровием при жарких спорах, скоро возникших у нас по поводу классицизма и романтизма. Катенин, между прочим, помирил Пушкина с князем Шаховским, приверженцем классицизма, и с актрисой А.М. Колосовой, дебюты которой Пушкин встретил злой эпиграммой.

Но, к сожалению, Пушкин только мельком бывал в литературных кружках и видался со своими друзьями и сотоварищами по перу. Более же всего его тянуло в высший свет, где он считал неприличным носить звание литератора и всячески старался, чтобы забыли о том, что он пишет стихи. Связи отца и служба по министерству иностранных дел открыли Пушкину вход в лучшие дома большого света, каковы были графов Бутурлиных и Воронцовых, князей Трубецких, графов Лаваль, Сушковых и пр. Здесь Пушкин на первых порах с пылкой страстностью увлекся балами и всеми великосветскими развлечениями, но большой свет скоро наскучил ему, и он кинулся в вихрь полусвета. Страсть к обществам, явным и тайным, различных наименований, была так сильна в то время, что беспрестанно возникали общества не только литературные, масонские, политические, но эротические и вакхические. Таково было общество “Зеленая лампа”, основанное Н.В. Всеволожским и у него собиравшееся. Это было *оргическое* общество, которое в числе различных домашних представлений, как изгнание Адама и Евы, гибель Содома и Гоморры, устраиваемых им на своих заседаниях, пародировало между прочим собрания с парламентскими и масонскими формами, но было посвящено исключительно обсуждению планов волокитства, закулисных проказ и всякого рода отчаянных шалостей, иногда крайне скандальных, рискованных и опасных; сюда же входили и кутежи с богатырскими пари относительно количества выпитых напитков и беспрестанные дуэли из-за самых ничтожных пустяков вроде какой-нибудь случайной театральной ссоры.

Пушкин присоединился именно к этому обществу великосветских безобразников, и как велики были излишества, которым он предавался в это время, можно судить по тому, что в течение трех лет он два раза лежал на краю гроба, в горячке, именно вследствие постоянных возбуждений

организма, не выдерживавшего подобного богатырского разгула. При этом нужно принять во внимание, что кутежи с золотою молодежью были не только не по физическим силам Пушкина, но и не по карману его, и он очень нуждался в деньгах. За стихи в то время еще не платили ему; 700 руб., получаемые им на службе, были капля в море для великосветских кутежей, отец же Пушкина не особенно раскошеливался для молодого повесы и выводил его из себя своею скупостью. Так, один современник, добрый приятель Пушкина, рассказывал, как поэту приходилось упрашивать, чтобы ему купили бывшие тогда в моде бальные башмаки с пряжками; Сергей же Львович предлагал ему свои старые, павловских времен. “Мне больно видеть, – говорит Пушкин в одном письме к брату, – равнодушие отца моего к моему состоянию. Это напоминает мне Петербург: когда больной, в осеннюю грязь и трескучие морозы, я брал извозчика от Аничкова моста, он вечно бранился за 80 копеек, которых, верно бы, ни ты, ни я не пожалел для слуги”. Если же и попадала в карман Пушкина лишняя копейка, он тотчас же ставил ее ребром с гениальным безрассудством. Так, однажды ему случилось кататься на лодке в обществе, в котором находился и отец его. Погода стояла тихая, и вода была так прозрачна, что виднелось самое дно. Пушкин вынул несколько золотых монет и одну за другой стал бросать в воду, любуясь падением и отражением их в чистой влаге.

И несмотря на то, что скудость денежных средств ставила его беспрестанно в двусмысленные и неловкие положения, сильно тревожившие и огорчавшие его, он все-таки продолжал тянуться к знати. “Пушкин, – рассказывает о нем один из лицейских друзей его, – либеральный по своим воззрениям, часто сердил меня и вообще всех нас тем, что любил, например, вертеться у оркестра, около знати, которая с покровительственной улыбкой выслушивала его шутки, остроты. Случалось из кресел сделать ему знак, он тотчас прибежит. Говоришь, бывало: “Что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом – ни в одном из них ты не найдешь сочувствия”. Он терпеливо выслушает, начнет щекотать, обнимать, что обыкновенно делал, когда немножко потеряется; потом смотришь, Пушкин опять с тогдашними львами”.

Надо удивляться, как среди этой рассеянной жизни, исполненной беспрерывных оргий, у Пушкина хватало времени на литературные работы. Между тем оставшиеся после него тетради свидетельствуют об упорном, усидчивом труде, который он положил на обработку “Руслана и Людмилы”, труде не менее четырех лет, так как задуманная еще на скамьях лицея поэма вышла в свет в 1820 году. Появление “Руслана и Людмилы”

произвело сильную сенсацию и в литературе, и в обществе, равносильную внезапному пушечному выстрелу среди мертвой тишины или яркому лучу света, блеснувшему среди непроницаемого мрака. Поэма шла совершенно вразрез с установившимися литературными приемами и не была похожа ни на что, существовавшее в литературных кружках того времени. Тут и тени не было ни того высокопарного, чопорного тона, с каким передавались сюжеты народного эпоса классиками, ни плаксивого сентиментализма и туманной мечтательности романтиков: бездна остроумия, шутливое отношение к сказочному миру, живой и здравый реализм, проглядывающий сквозь чудеса, и свободное, простое течение рассказа при беспрестанных отступлениях и неожиданных обращениях к посторонним предметам – все это производило впечатление неслыханной новизны и в то же время подкупало своею поэтической обаятельностью. И между тем как публика нарасхват покупала поэму, читала и перечитывала ее до заучивания наизусть, в журнальном мире занялся целый сыр-бор из-за нее. Затихавшие в последнее время споры между классиками и романтиками вспыхнули с новой силою. И между тем как романтики до небес расхваливали поэму, приписывая ей ряд знаменитых предков и у себя, и на стороне, сравнивая ее с “Душенькой” Богдановича, и с “Обероном” Виланда, и с “Неистовым Роландом” Ариосто, классики на страницах “Вестника Европы” обрушились на нее с ожесточением и ужасом. “Обратите внимание, – писал критик “Вестника Европы”, – на новый ужасный предмет, возникающий среди океана российской словесности... Наши поэты начинают пародировать Киршу Данилова... Просвещенным людям предлагают поэму, писанную в подражание Еруслану Лазаревичу”. Критик допускает еще собиранье русских сказок, как собирают и безобразные старые монеты, но уважения к ним не понимает. Выписав сцену Руслана с головой, критик восклицает: “Но увольте меня относительно описания и позвольте спросить: если бы в московское благородное собрание как-нибудь втерся (предполагая невозможное возможным) гость с бородою, в армяке, в лаптях и закричал зычным голосом: “Здорово, ребята!” – неужели бы стали таким проказником любоваться?., зачем допускать, чтобы классические шутки старины снова появлялись между нами?” (“Вестник Европы”, 1820, № 11).

Но в то время, как поэма “Руслан и Людмила” произвела такой шум в литературном обществе, автора ее уже не было в Петербурге, и очень может быть, что успеху поэмы наполовину содействовало именно это обстоятельство. Дело в том, что, крайне чуткий ко всему, что окружало его в жизни того времени, Пушкин не мог оставаться глухим к тому брожению, которым было исполнено наше высшее общество после войны 1812

года. Не с одними повесами и кутилами сталкивался Пушкин в большом свете и в гвардейских кружках. Рядом с такими забубенными людьми, как братья Всеволожские или Якубович, Пушкин был близок и с личностями совсем иного рода, каковы были Катенин, Н. И. Тургенев, Чаадаев, Раевский, Пущин и затем масса людей, горячо увлекавшихся общественными вопросами своего времени. Он был охвачен сетью политических кружков и тайных обществ, которые не принимали его в свои недра, считая слишком легкомысленным и суетным, но в то же время влияли на его образ мыслей и вместе с тем возбуждали в нем желание проникнуть в эти кружки и сделаться членом их. И вот, оскорбленный этим непризнанием, Пушкин вздумал составить себе самостоятельное видное положение между ними и разразился массою политических памфлетов и эпиграмм, которые быстро расходились среди публики, увеличивали его популярность, но вместе с тем делали положение поэта с каждым днем более и более опасным. Распространившиеся в обществе слухи об аресте и наказании его в тайной канцелярии еще более подлили масла. “Мне было 20 лет в 1820 году, – говорит он в своей позднейшей записке, – несколько необдуманых слов, несколько сатирических стихов обратили на меня внимание. Разнесся слух, что я был позван в тайную канцелярию и высечен. Слух был давно общим, когда дошел до меня. Я почел себя опозоренным перед светом, я потерялся, дрался – мне было 20 лет! Я размышлял, не приступить ли мне к самоубийству или... Но в первом случае я сам бы способствовал к укреплению слуха, который меня бесчестил; я не смывал никакой обиды, потому что обиды не было; я только совершал преступление и приносил жертву общественному мнению, которое презирал... Таковы были мои размышления; я сообщил их одному другу, который вполне разделял мой взгляд. Он советовал мне начать попытки оправдания себя перед правительством; я понял, что это бесполезно. Тогда я решился выказать столько наглости, столько хвастовства и буйства в моих речах и в моих сочинениях, сколько нужно было для того, чтобы понудить правительство обращаться со мною, как с преступником. Я жаждал Сибири, как восстановления чести...”

Результатом всего этого было то, что в один прекрасный день Пушкин был приглашен к тогдашнему петербургскому генерал-губернатору, графу Милорадовичу. “Когда привезли Пушкина, – говорит И.И.Пущин, – граф Милорадович приказывает полицмейстеру ехать на его квартиру и опечатать все его бумаги. Пушкин, слыша это приказание, говорит ему: “Граф! Вы напрасно это делаете. Там не найдете того, чего ищете. Лучше велите дать мне перо и бумаги, я здесь же все вам напишу”. Милорадович,

тронутый этой свободной откровенностью, торжественно воскликнул: “Ah! c'est cyevaleresque”,^[7] и пожал ему руку. Пушкин сел, написал все контрабандные стихи свои и попросил дежурного адъютанта отнести их графу в кабинет. После этого Пушкина отпустили домой и велели ждать дальнейшего приказания”. Между тем Пушкин не унимался. Так, например, вскоре после убийства герцога Беррийского, он в театре вынимал из кармана портрет Лувеля и показывал его своим соседям. Жалобы на него дошли наконец до царя. Предание уверяет, будто некоторые предлагали сослать Пушкина в Соловецкий монастырь. Но государь отверг эту строгую меру, и так как Пушкин был лицеист, то он обратился за советом к Энгельгардту. Встретившись с ним в царскосельском саду, Александр пригласил его пройтись с собою.

“Энгельгардт, – сказал он ему, – Пушкина надо сослать в Сибирь. Он наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодежь наизусть их читает. Мне нравится откровенный его поступок с Милорадовичем, но это не исправляет дела”. Энгельгардт отвечал на это: “Воля вашего величества; но вы мне простите, если я позволю себе сказать слово за бывшего моего воспитанника. В нем развивается необыкновенный талант, который требует пощады. Пушкин – теперь уже краса современной нашей литературы, а впереди еще больше на него надежды. Ссылка может губительно подействовать на пылкий нрав молодого человека. Я думаю, что великодушные ваше, государь, лучше вразумит его”.

Между тем Пушкин бросился к Карамзину, рассказал свои обстоятельства, просил совета и помощи, со слезами на глазах выслушав дружеские упреки и наставления. “Можете ли вы, – сказал Карамзин, – по крайней мере обещать мне, что в продолжение года ничего не напишете противного правительству? Иначе я выйду лжецом, прося за вас и говоря о вашем раскаянии”. Пушкин дал ему слово и сдержал его: не раньше 1821 года прислал он из Бессарабии, без подписи, стихотворение “Кинжал”. П.Я. Чаадаев в свою очередь был у Карамзина и упрашивал его съездить к императрице Марье Федоровне и к начальнику Пушкина по службе, графу Каподистрии. Но заступничество Энгельгардта и Карамзина могло только смягчить, а не отменить наказание. Пушкин был, собственно говоря, не сослан, а лишь переведен на службу в попечительный комитет о колонистах южной России, состоявший в ведомстве коллегии иностранных дел и находившийся тогда в Екатеринославе. Наскоро собрался он в дорогу, не успев даже как должно проститься со своими приятелями; до Царского Села проводили его два товарища, барон Дельвиг и М.Л. Яковлев. Родители дали ему надежного слугу, человека пожилых лет, Никиту; и вот 5 мая 1820

года Пушкин оставил Петербург.

ГЛАВА IV. ПРЕБЫВАНИЕ А.С. ПУШКИНА НА ЮГЕ

Пушкин оставил Петербург без особенного уныния. С одной стороны, его, как 20-летнего юношу, увлекало интересное положение страдальца за идею, а с другой – он был уверен, что изгнание его продолжится недолго. В красной рубашке с опояскою, в поярковой шляпе, скакал он в страшную жару на перекладных по так называемому белорусскому тракту (на Могилев и Киев). В половине мая он приехал в Екатеринослав и с письмом от графа Каподистрии явился к своему новому начальнику, Инзову. Не успел он еще оглядеться в своей новой обстановке, как занемог: простудился, купаясь в Днепре, и схватил сильную лихорадку. Положение его было очень незавидное. В полном одиночестве он лежал в скверной избенке на дощатом диванчике, небритый, бледный, худой. В таком виде застали его петербургские знакомые, Раевские, проезжавшие через Екатеринослав на Кавказ. Николай Николаевич Раевский, ветеран 12-го года, командовавший в то время 4-м корпусом Первой армии, по просьбе сына своего, принял большое участие в положении больного поэта и решился взять его с собою на Кавказ. Инзов не стал этому препятствовать и уволил своего чиновника в отпуск на несколько месяцев. Таким образом, Пушкин прожил в Екатеринославе всего две недели, и от этого города остался в его поэтической памяти один только образ: два скованных разбойника, убежав из екатеринославской тюрьмы, спаслись в цепях вплавь по Днепру. Это происшествие послужило впоследствии темою для известной поэмы Пушкина “Братья разбойники”.

С Раевским ехали на Кавказ, кроме сына Николая и военного врача Рудыковского, две младшие дочери его – Мария и Софья, гувернантка их, мисс Маттен, и компаньонка. Нужно ли говорить о том, что эта поездка на Кавказ весьма живительно повлияла и на тело, и на дух поэта. Он выздоровел от своей болезни, и в то же время кавказская природа сильно подействовала на его воображение и дала могучий толчок его творчеству. Уже во время этой поездки была задумана Пушкиным поэма “Кавказский пленник” под живыми впечатлениями кавказского края. “Два месяца жил я на Кавказе, – рассказывает Пушкин в письме своем к брату, писанном вскоре после возвращения оттуда, – воды мне были очень нужны и чрезвычайно помогли, особенно серные горячие; впрочем, я купался и в

теплых кислородных, в железных и в кислых холодных. Все эти целебные ключи находятся не в дальнем расстоянии друг от друга, в последних отраслях Кавказских гор. Жалею, мой друг, что ты со мною вместе не видал великолепную цепь этих гор, ледяные их вершины, которые издали на ясной заре кажутся странными облаками, разноцветными, радужными; жалею, что не всходил со мною на острый верх пятихолмого Бешту, Машука, Железной горы, Каменной, Змеиной...” Но поездка на Кавказ ограничилась минеральными водами: вообще, в глубь Кавказа Пушкин не ездил в тот раз и не видал ни Терека, ни Казбека. В первых числах августа путешественники наши окончили купанье и отправились на южный берег Крыма, в Гурзуф, где находилось остальное семейство Раевского. Этот переезд и трехнедельная жизнь в Гурзуфе оставили в Пушкине лучшие воспоминания его жизни. Путешествие окружено было всеми удобствами – из Керчи до Гурзуфа они плыли на военном бриге, отданном в распоряжение генерала. Здесь, в прелестную южную ночь, расхаживая по палубе, Пушкин создал свою элегию “Погасло дневное светило”.



Пушкин в Гурзуфе. (По картине Айвазовского)

В Гурзуфе, очаровательнейшем уголке южного крымского берега, вся семья Раевского была в сборе. Здесь впервые Пушкин увидел и познакомился с двумя старшими дочерьми Раевского, Катериной Николаевною, поражавшею своим твердым характером и развитым, чисто мужским умом, и с Еленой Николаевною, 16-летней девушкой, высокою, стройною, с прекрасными голубыми глазами. Несколько ранее, во время поездки на Кавказ, он сошелся со старшим сыном Раевского, Александром, весьма образованным и умным, и очень увлекся этим молодым человеком. Вообще он очень близко и тесно сошелся с семейством Раевского, в котором все его полюбили, и в письмах своих он вспоминает о жизни в Гурзуфе не иначе, как с восторгом. “Старший сын его (Раевского), – пишет Пушкин своему брату, – будет более чем известен. Все его дочери – прелесть, старшая – женщина необыкновенная. Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так люблю и которой никогда не насладишься; счастливое полуденное небо, прелестный край, природа, удовлетворяющая воображению, горы, сады, море; друг мой, любимая моя надежда – увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского”... “В Юрзуфе, – пишет Пушкин Дельвигу, – жил я сиднем, купался в море и объедался виноградом. Я тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею со всем равнодушием и беспечною неаполитанского *lazzaroni*.^[8] Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос кипарис; каждое утро я посещал его и к нему привязался чувством, исполненным дружбы”. К воспоминаниям о жизни в Гурзуфе относится и тот женский образ, который беспрестанно является в стихах Пушкина этого периода и преследует его в продолжение трех лет до самой Одессы, и там только сменяется другим.

Но не одни только наслаждения природою и влюбчивость занимали Пушкина в это время. В доме нашлась старинная библиотека, в которой Пушкин тотчас отыскал сочинения Вольтера и начал их перечитывать. В то же время, под руководством молодых Раевских, он практиковался в английском языке, и эта практика состояла в чтении Байрона. Знакомство с британским поэтом, бывшим в то время властителем дум и сердец во всей Европе, произвело могучее влияние на Пушкина, не только на его поэтическое творчество, но и на весь образ жизни и мыслей. Тот оппозиционный задор, который повлек за собою высылку Пушкина и

который до сих пор скорее имел характер молодого буйства, чем какую-либо серьезную идейную подкладку, теперь окрашивается в цвет модного байронизма. Байронизм этот на русской почве сразу получил совершенно особенный характер. Политическая сторона байронизма стояла здесь на последнем плане; на первом же было гордое и презрительное отрицание всех традиционных обычаев, приличий и предрассудков и стремление к необузданной свободе личности в проявлении глубоких, сильных и демонических страстей. Поездка из Гурзуфа в Каменку, имение Раевских-Давыдовых в Киевской губернии, где Пушкин нашел целый кружок людей, проникнутых байронизмом (А. Раевский, В.Л. Давыдов, князь С.Г. Волконский, В.А. Поджио), довершила развитие в нем байроновского духа. Каменка подчинила себе Пушкина тоном своих суждений о лицах и предметах, образом мышления, в ней господствовавшим, способом относиться к явлениям жизни и людям. Ни перед кем так не старался Пушкин блеснуть либерализмом, свободой от предрассудков, смелостью выражений и суждений, как перед друзьями, оставленными в Каменке. Можно сказать, что Каменка постоянно носилась перед его глазами и служила как бы орудием, которое держало его на крайних вершинах русско-байроновского настроения.

Между тем как Пушкин путешествовал, во внешнем положении его произошла новая перемена. Вследствие болезни и отпуска наместника Бессарабской области, А.Н. Бахметева, должность его была возложена временно на Инзова, который, переехав в Кишинев, перевел туда и попечительный комитет о колонистах южного края. Таким образом, Пушкину пришлось прибыть из Каменки в Кишинев, где он и поселился в доме самого Инзова. Эта новая обстановка совершенно соответствовала байроновскому настроению Пушкина. Население Кишинева в ту эпоху было чрезвычайно пестрое и представляло собою картинную смесь “племен, наречий, состояний”: тут встречались на каждом шагу и евреи, и болгары, и турки, и французы, и итальянцы. Восстание греков наполнило город значительным количеством греческих и молдаванских фамилий, бежавших от смут своей родины. Присутствие их сообщило Кишиневу сильный восточный характер, в котором европейская образованность и восточное варварство смешивались оригинально и живописно. Пестрота, шум, разнообразие и полная распущенность нравов тогдашнего Кишинева произвели сильное впечатление на Пушкина: он полюбил город, вполне соответствовавший его настроению духа.

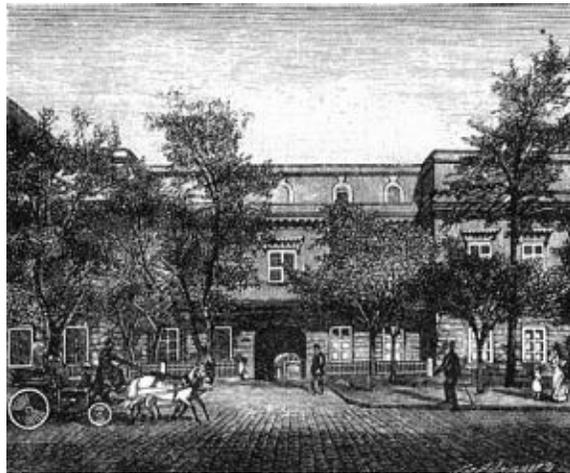


Дом Инзова в Кишиневе, где жил Пушкин

Вмешавшись в эту пеструю толпу, Пушкин повел жизнь, полную развлечений, шумных пиршеств, ухаживаний, ссор, дуэлей и всяческих приключений. Не было многочисленного собрания или картежной игры, где бы ни являлся Пушкин, нечесаный, небритый, в молдаванской феске на голове, в архалуке, в бархатных шароварах и с железною дубинкою в руках, вообще в костюме самом картинном, беспорядочностью своею приводившем в ужас чопорных кишиневских чиновников. Беспощадная насмешливость, готовность каждую минуту выйти из себя и подраться послужили причиной того, что Пушкин нажил себе в городе массу врагов и недоброжелателей. Солидные и степенные люди смотрели на него с негодованием, как на дерзкого отрицателя всего святого, как на какое-то чудовище. Распространилось даже среди общества шуточное прозвище, данное Пушкину каким-то остряком, – бес арабский (каламбур на слово “бессарабский”). После же двух дуэлей (с З. из-за карт и со Старовым из-за того, что танцевать – вальс или мазурку) и дикого скандала с молдаванином Балшем, Пушкина положительно стали бояться в городе как бретера и скандалиста. Между тем добрый и мягкий Инзов относился к своему невозможному подчиненному чисто по-отечески. Он журил его после каждой шалости, наказывал арестами, причем приставлял даже солдат к его квартире, или же посылал в командировки. Так, во второй половине 1822 года, после одной буйной карточной ссоры, во время которой Пушкин, снявши сапог, ударил противника каблуком в лицо, он был послан в Измаил, и во время этой именно поездки Пушкин, встретив на дороге цыганский табор, пристал к нему и несколько времени кочевал вместе с

ним.

Около трех лет прожил Пушкин в Кишиневе такую жизнью, отлучаясь очень часто то в Киев и Каменку, то в Одессу и степи: 28 мая 1823 года Инзов сдал должность новороссийского генерал-губернатора новому начальнику, М.С. Воронцову. Тогда же было соединено в одной власти и управление Бессарабией; административным центром сделалась Одесса, куда переехал и Пушкин, зачисленный в канцелярию генерал-губернатора. Сначала Пушкин был очень рад этому переводу. Его манила жизнь в Одессе, шумном приморском городе с итальянской оперой, богатым и образованным купечеством, русскими и иностранными путешественниками, наконец, с молодыми способными чиновниками, прибывшими в край по выбору Воронцова. Все это сулило Пушкину много новых развлечений, занятий и связей, каких Кишинев, потерявший значение административного центра, не мог уже дать. Но молодому поэту вскоре пришлось горько разочароваться. Оказалось, что здесь не могло быть и помина о той свободе, простоте и фамильярности отношений к службе, какие существовали в Кишиневе. Новый начальник с блестящей свитой чиновников и адъютантов сразу поставил себя центром управляемой страны.



Дом в Одессе, где жил Пушкин в 1823 году

Только что приобретенный край впервые увидел власть со всеми атрибутами блеска, могущества и стойкости. От подчиненных прежде всего теперь требовались бюрократическая *“порядочность”* в образе мыслей, наружное приличие в формах жизни и преданность к службе, олицетворяемой главой управления. Пушкин, очевидно, не мог

удовлетворить всем этим новым требованиям и в то же время видел, что тысячи глаз следят за его словами и поступками из одного побуждения – наблюдать явление, не подходящее к общему строю; он терялся в этом мире приличий, вежливого, дружелюбного коварства и холодного презрения ко всем его вспышкам, хотя бы и подсказанным благородным движением сердца. Он пытался сначала приноровиться к новой сфере: обстригся, почистился, приоделся; но этого было мало. По существу он оставался все тем же страстным, увлекающимся и необузданным, а не ревностным и подтянутым бюрократом, каким его хотели видеть. Известно враждебное отношение Пушкина к командировке, организованной для него Воронцовым, – исследовать саранчу в южных степях Новороссии. Командировка придумана была Воронцовым с целью дать Пушкину случай отличиться по службе, а Пушкин принял поручение это за желание насмеяться над ним, и всем известен тот шуточный рапорт в стихах о саранче, который был представлен Пушкиным вместо деловой бумаги.

Саранча летела, летела
И села.
Сидела, сидела – все съела
И вновь улетела.

Более всего оскорбляло самолюбие Пушкина то обстоятельство, что Воронцов игнорировал в нем поэта и смотрел лишь как на чиновника. И вот кончилось тем, что Пушкин, долго сдерживая свое негодование, разразился, наконец, в одесском обществе потоком и прозаическими, и стихотворными сарказмами против своего начальника. Сарказмы эти дошли до Воронцова, и он 23 марта 1824 года обратился к управляющему министерством иностранных дел графу Нессельроде, прося его доложить государю о необходимости отозвать Пушкина из Одессы. В начале письма граф Воронцов говорит, что, застав уже Пушкина в Одессе при своем прибытии в город, он с тех пор не имел причин жаловаться на него, а, напротив, обязан сказать, что замечает в нем старание показать скромность и воздержанность, каких в нем никогда не было прежде. Если теперь он ходатайствует о его отзывании, то единственно из участия к молодому человеку не без таланта и из желания спасти его от последствий главного его порока – самолюбия. “Здесь есть много людей, – пишет граф Воронцов, – а с эпохой морских купаний число их еще увеличится, – которые, будучи восторженными поклонниками его поэзии, стараются показать дружеское

участие непомерным восхвалением его и оказывают ему через то вражескую услугу, ибо способствуют к затмению его головы и признанию себя отличным писателем, между тем как он, в сущности, только слабый подражатель не совсем почтенного образца – лорда Байрона – и единственно трудом и долгим изучением истинно великих классических поэтов мог бы оплодотворить свои счастливые способности, в которых ему невозможно отказать... Вот почему необходимо извлечь его из Одессы. Перевод снова в Кишинев к генералу Инзову не пособил бы ничему – Пушкин все-таки остался бы в Одессе, но уже без наблюдения, да и в Кишиневе он нашел бы еще между молодыми греками и болгарами довольно много дурных примеров. Только в какой-либо губернии мог бы он найти менее опасное общество и более времени для усовершенствования своего возникающего таланта и избавиться от вредных влияний лести и от заразных крайних и опасных идей”. В конце же письма граф Воронцов выражает твердую надежду, что настоящее его представление не будет принято в смысле осуждения или порицания Пушкина.

Но не успело это письмо дойти до Петербурга, как о Пушкине возникло новое дело. Незадолго до того поэт написал одному приятелю письмо, в котором находились между прочим следующие строки: “Читаю Библию, святой дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гете и Шекспира. Ты хочешь узнать, что я делаю? Пищу пестрые строфы романтической поэмы и беру уроки чистого афеизма. Здесь англичанин – глухой философ и единственный умный афей, которого я еще встретил. Он написал листов тысячу, чтобы доказать, *qu'il ne peut exister d'être intelligent créateur et régulateur*,^[9] мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастью, более чем правдоподобная”.

Письмо это было перехвачено на почте и каким-то образом распространилось в списках по Москве. Можно себе представить, в какое негодование привело оно тогдашнее мистическое начальство. И вот, 14 июля 1824 года, от графа Нессельроде последовала графу Воронцову в ответ на его письмо следующая бумага:

“Граф! Я подавал на рассмотрение императора письма, которые Ваше Сиятельство прислали мне по поводу коллежского секретаря Пушкина. Его Величество вполне согласился с вашим предположением об удалении его из Одессы, после рассмотрения тех основательных доводов, на которых вы основываете ваши предположения, и подкрепленных в это время другими

сведениями, полученными Его Величеством об этом молодом человеке. Все доказывает, к несчастью, что он слишком проникся вредными началами, так пагубно выразившимися при первом вступлении его на общественное поприще. Вы убедитесь в этом из приложенного при сем письма. Его Величество поручил мне переслать его вам; о нем узнала московская полиция, потому что оно ходило из рук в руки и получило всеобщую известность. Вследствие этого Его Величество, в видах законного наказания, приказал мне исключить его из списков чиновников министерства иностранных дел за дурное поведение; впрочем, Его Величество не соглашается оставить его совершенно без надзора, на том основании, что, пользуясь своим независимым положением, он будет, без сомнения, все более и более распространять те вредные идеи, которых он держится, и вынудит начальство употребить против него самые строгие меры. Чтобы отдалить, по возможности, такие последствия, император думает, что в этом случае нельзя ограничиться только его отставкою, но находит необходимым удалить его в имение родителей, в Псковскую губернию, под надзором местного начальства. Ваше Сиятельство не замедлит сообщить Пушкину это решение, которое он должен выполнить в точности, и отправить его без отлагательства в Псков, снабдив прогонными деньгами”.

Граф Воронцов получил это предписание в Крыму, где путешествовал и был в это время болен лихорадкой. По его приказанию правитель дел его походной канцелярии А.И. Левшин передал исполнение высочайшей воли относительно Пушкина тогдашнему градоначальнику Одессы, графу А.Д. Гурьеву. Так кончилась годичная служба Пушкина в свите графа Воронцова.

Но было бы ошибочно думать, что все вышеизложенные мытарства и приключения совершенно исчерпывали жизнь Пушкина на юге. По совершенно справедливому и единодушному замечанию всех биографов, Пушкин постоянно жил какою-то двойною жизнью, точно как будто с ним под одною телесною оболочкою были соединены два человека, несколько не похожие друг на друга, и в то время как один Пушкин, заносчивый, высокомерный и тщеславный денди, задорный бретер, игрок и волокита, прожигал жизнь в непристойных оргиях, другой Пушкин, скромный и даже застенчивый, с нежною и любящею душою, поражал усидчивостью и плодотворностью своей умственной деятельности. Можно положительно

сказать, что он пожирал все книги, какие только попадались ему на глаза и в Киеве – у Раевских, и в Каменке – у Давыдовых, и в Кишиневе – у Инзова, у Орлова, Пущина, И. П. Липранди. Не ограничиваясь одним чтением, он делал большие выписки из книг. В то же время он собирал народные песни, легенды, этнографические документы. Под конец же пребывания на юге страсть к собиранию книг развилась у него до такой степени, что он сравнивал себя со стекольщиком, разоряющимся на покупку необходимых ему алмазов. Большая часть его денег уходила этим путем, и превосходная библиотека, оставленная им после смерти, свидетельствует о разнообразии и основательности его чтения. Между прочим, он успел выучиться на юге по-английски и довершил знание итальянского языка. С жадностью следил он за ходом греческого возрождения и вел даже журнал событиям его. Не ограничиваясь одними книгами, Пушкин, по словам И.П. Липранди, прибегал даже к хитрости для пополнения недостающих ему сведений; он искусственно возбуждал споры о предметах, его интересовавших, у людей более в них компетентных, чем он сам, и затем пользовался указаниями спора для приобретения нужных ему сочинений.

Как плодovито в то же время было его творчество, можно судить по тому, что в продолжение четырех лет жизни его на юге были написаны им, кроме массы лирических стихотворений, все поэмы его байроновского стиля: в 1821 году – “Кавказский пленник” и “Братья разбойники”, в 1822 – “Бахчисарайский фонтан”, в 1824 – “Цыганы”; рядом со всем этим в 1823 году была уже написана им первая глава “Евгения Онегина”. Сверх того, по черновым тетрадям, оставшимся после Пушкина, можно судить, что в разгаре своего байроновского свободомыслия он задумывал политическую трагедию “Вадим”, предполагая написать картину заговора и восстания “славянских племен” против иноплеменного ига, напомнить именем Вадима известную трагедию Княжнина, удостоенную официального преследования в прошлое столетие, и, наконец, открыть эру мужественных Альфиеровских трагедий в русской литературе на место любовных классических, которые в ней господствовали. Все содержание новой трагедии должно было вертеться около движения народных масс и служить апофеозом гражданским доблестям их руководителя Вадима, причем “славянские племена” и “иноплеменники” составляли только весьма прозрачную аллегория, за которой легко было разобрать настоящих деятелей и настоящих врагов, подразумеваемых трагедией. Те же черновые тетради свидетельствуют, что тогда же Пушкин начал было писать сатирическую поэму, действие которой должно было происходить в аду,

при дворе сатаны. Наконец к 1822 году следует отнести и ту рукописную поэму, которая была навеяна, очевидно, чтением Вольтера и впоследствии доставила ему немало раскаяний, навлекши неприятности со стороны духовенства.

Находясь под влиянием Байрона и Андрея Шенье, увлекаясь в то же время Овидием и сравнивая свою участь с участью древнего изгнанника, сосланного на те же самые берега Дуная, – Пушкин и сам не замечал, как из него вырабатывался совершенно самобытный народный русский художник и вместе с тем с каждым новым произведением более и более проглядывало совершенно новое направление, о котором в то время никто еще не помышлял у нас. В самом деле, в то время как друзья и приверженцы Пушкина ставили его во главе русского романтизма, в то время как Пушкин в горячей переписке с друзьями (Бестужевым, Рылеевым, Дельвигом, князем Вяземским), рассуждая о животрепещущих литературных вопросах того времени и о задачах критики, путался в определении того самого романтизма, во главе которого его ставили, никому и в голову не приходило, что вовсе не романтизм составляет главную силу и достоинство новых произведений Пушкина, а их непосредственная, органическая связь с окружающей поэта жизнью. Но слово *реализм* не было еще в то время произнесено в нашей литературе.

И действительно, все то обновление, которое внес Пушкин в нашу литературу, и весь переворот, который он произвел, главным образом заключались в том, что по самому существу своему Пушкин обладал глубоко реальным чутьем. С самых первых своих шагов, с лицейских стихотворений уже, он творит по большей части под непосредственным внушением впечатлений жизни. То же самое мы видим и во втором периоде его литературной деятельности – байроническом. И здесь живые впечатления постоянно берут перевес, вытесняют чуждые, заимствованные веяния, и этим живым впечатлениям обязан был Пушкин лучшим, что только создано им в этот период. Следя за его жизнью в связи с творчеством, вы видите, как сама жизнь непосредственно внушает ему его создания: под впечатлением Кавказа является “Кавказский пленник”, Крыму был обязан Пушкин “Бахчисарайским фонтаном”, поездкою в Измаил обуславливается поэма “Цыганы”. Обратите затем внимание на то, что является лучшим, наиболее художественным и обаятельным во всех этих поэмах. Конечно, не характеры героев, бесцветные и отвлеченные, внушенные влиянием Байрона, а живые картины местной природы и быта. До такой степени тогда уже реализм составлял главную суть его гения, что каждый раз, когда он сходил с реальной почвы, он начинал мучиться в

тщетных усилиях создать что-либо, и творчество покидало его. Этим и объясняются неудачи его при попытках создать трагедию “Вадим”, сатирическую поэму из адской жизни; наконец известно, что и поэму “Братья разбойники” Пушкин не кончил и сжег, а то, что мы имеем под этим названием, составляет лишь отрывок, случайно уцелевший у Н. Н. Раевского. Все это Пушкину не удалось именно потому, что здесь он не имел живых красок, непосредственно навеянных действительностью, а должен был создавать отвлеченно. В “Евгении Онегине” он сознательно уже становится на реальную почву. Когда появилась первая глава романа еще в рукописи, друзья Пушкина увидели в ней подражание байроновскому “Дон-Жуану”; но Пушкин с жаром восстал против этого мнения, возражая, что нет ничего общего между Онегиным и Дон-Жуаном; что у него и в помышлении не имелась байроновская сатира; что 1-я глава романа есть не более как вступление, которым он остается доволен, что следует ожидать других глав, того, что будет далее, а далее, конечно, и тогда уже носились перед его глазами картины русской жизни со всеми ее особенностями. Наконец к этому же периоду жизни Пушкина относится впервые возникшее в нем сознание, что он может существовать без службы, без покровительства властей и посторонней поддержки, одним своим литературным трудом. До тех пор стихи давали ему очень мало денег. “Руслан” и “Кавказский пленник” оставили его с пустыми руками. Издатель последнего, Гнедич, разделался с Пушкиным тем, что прислал ему 550 руб. ассигнациями и один экземпляр поэмы. Не то было с “Бахчисарайским фонтаном”. Издание его принял на себя князь Вяземский, предпославший ему, как известно, свое остроумное предисловие и вскоре после выхода книжки отправивший к Пушкину в Одессу 3 тысячи руб. ассигнациями, да и то, как кажется, этим не ограничившийся.

ГЛАВА V. А.С. ПУШКИН В СЕЛЕ МИХАЙЛОВСКОМ 1824-1826



А.С. Пушкин в селе Михайловском (с картины Н.Ге)

Пушкин выехал из Одессы 30 июля 1824 года, получив триста восемьдесят девять рублей прогонных денег и сто пятьдесят рублей недоданного ему жалованья. Он обязался подпиской следовать до места назначения своего через Николаев, Елизаветград, Кременчуг, Чернигов и Витебск, нигде не останавливаясь на пути. Маршрут этот составлен был с ясною целью удалить его от Киева и тех польских и русских знакомых, каких он мог встретить на пути.

Пушкин ехал скоро, в точности исполняя свою подписку. По донесению псковской земской полиции, 9 августа он уже прибыл в Михайловское, где его ожидали близкие— отец, мать, брат и сестра. Но нерадостна была встреча опального сына с родителями, не выдавшими его несколько лет. Трусливому отцу Пушкина и легко воспламеняющейся его супруге сделалось страшно и за самих себя, и за остальных членов семьи при мысли, что в среде их находится опальный человек, преследуемый властями, к тому же за атеизм. С ужасом смотрели они на дружбу поэта с младшим братом и сестрою, опасаясь, что он и их совратит в безбожие. Между тем начальник края, маркиз Паулуччи, поручил уездному опочечкому предводителю дворянства, Пещурову, пригласить отца Пушкина принять на себя надзор за поступками сына, обещая, в случае его согласия, воздержаться со своей стороны от назначения всяких других за ним наблюдателей. Сергей Львович имел слабость принять это

предложение, и, что из этого вышло, можно судить по следующему письму Пушкина к Жуковскому, 31 октября 1824 года:

“Милый, прибегаю к тебе. Посуди о моем положении! Приехав сюда, был я всеми встречен как нельзя лучше; но скоро все переменилось. Отец, испуганный моею ссылкой, беспрестанно твердил, что и его ожидает та же участь. Пещуров, назначенный за мною смотреть, имел бесстыдство предложить отцу моему должность распечатывать мою переписку, короче – быть моим шпионом. Вспыльчивость и раздражительная чувственность отца не позволяли мне с ним объясняться; я решил молчать. Отец начал упрекать брата в том, что я преподаю ему безбожие. Я все молчал. Получают бумагу, до меня касающуюся. Наконец, желая вывести себя из тягостного положения, прихожу к отцу моему и прошу позволения говорить искренно – более ни слова... Отец осердился. Я поклонился, сел верхом и уехал. Отец призывает брата и повелевает ему не знаться avec se monstre, se fils dénaturé.^[10] Жуковский, думай о моем положении и суди. Голова моя закипела, когда я узнал все это. Иду к отцу: нахожу его в спальне и высказываю все, что у меня на сердце было целых три месяца; кончаю тем, что *говорю* ему *в последний раз*. Отец мой, воспользовавшись отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому объявляет, что я *его бил*... Потом, что *хотел бить*!.. Перед тобою не оправдываюсь. Но чего же он хочет от меня с уголовным обвинением? Рудников сибирских, лишения чести? Спаси меня хоть крепостью, хоть Соловецким монастырем. Не говорю тебе о том, что терпят за меня брат и сестра. Еще раз спаси меня. Поспеши, обвинение отца известно всему дому. Никто не верит, но все его повторяют. Соседи знают. Я с ними не хочу объясняться. Дойдет до правительства; посуди, что будет. А на меня и суда нет. Я “hors la lois”.^[11]

В то же время псковскому губернатору Борису Антоновичу Адеркасу Пушкин писал:

“Милостивый государь Борис Антонович! Государь император высочайше соизволил меня послать в поместье моих родителей, думая тем обеспечить их горесть и участь сына. Но важные обвинения правительства пали на сердце моего отца и

раздражили мнительность, простительную старости и нежной любви его к прочим детям. Решаюсь для его спокойствия и своего собственного просить Его Императорское Величество да соизволит меня перевести в одну из своих крепостей. Ожидаю сей последней милости от ходатайства Вашего превосходительства”.

Советы ли Жуковского или урок, полученный от сына, подействовали на Сергея Львовича, только, уехав вскоре со всем семейством из Михайловского в Петербург, он оттуда в ноябре 1824 года послал отказ от возложенной на него обязанности наблюдения за сыном. Ссора между отцом и сыном длилась однако же вплоть до 1828 года, когда они примирились, благодаря усилиям Дельвига и особенно тому обстоятельству, что Пушкин был уже освобожден от надзора и ласково принят молодым государем. Во второй раз таким образом Сергей Львович мирился с сыном благодаря лишь его успехам.

Пушкин остался теперь один в Михайловском на всю зиму 1824-25 годов. Надзор за ним перешел опять к Пещурову, а для религиозного руководства назначен был настоятель соседнего Святогорского монастыря (в трех верстах от Михайловского), простой, добрый и, как описывает его наружность И.И. Пущин, несколько рыжеватый и малорослый монах, который от времени до времени навещал поэта в деревне.

В октябре 1824 года Пушкин официально был вызван в Псков для представления местному начальству. Осталось предание в этом городе, что он тогда же являлся на базар и в частные дома, к изумлению обывателей, в мужицком костюме. Делал ли он это ради изучения народности, или это было такое же шутовство, которое побудило его в Кишиневе носить восточные костюмы, неизвестно. Рядом с этим стоит другой анекдот, что в годовщину смерти Байрона Пушкин отправился в Святогорский монастырь к своему духовному опекуну и отслужил там соборную панихиду по новопреставившемуся боярину Георгию.

Образ жизни Пушкина в деревне напоминает жизнь Онегина в IV главе романа. Он также вставал рано и тотчас же отправлялся налегке к бегущей под горой речке и купался. Зимой он, как и Онегин, садился в ванну со льдом перед завтраком. Утро посвящал литературным занятиям: созданию и приговорительным трудам, чтению, выпискам, планам. Осенью – в эту всегдашнюю эпоху его сильной производительности – он принимал чрезвычайные меры против рассеянности и вообще красных дней: или не покидал постели, или не одевался вовсе до обеда. По замечанию одного из

его друзей, он и в столицах оставлял до осенней деревенской жизни исполнение всех творческих своих замыслов и в несколько месяцев сырой погоды приводил их к окончанию. Пушкин был, между прочим, неутомимый ходок пешком и много ездил верхом, но во всех его прогулках поэзия неразлучно сопутствовала ему. Сам он рассказывал, что, бродя над озером, тешился тем, что пугал диких уток сладкозвучными строфами своими. Если случалось ему оставаться дома без дела и гостей, он играл двумя шарами на бильярде сам с собой, а длинные зимние вечера проводил в беседах с няней Ариной Родионовной. Он посвящал почтенную старушку во все тайны своего гения. Арина Родионовна была посредницей в его сношениях с русским сказочным миром, руководительницей его в изучении поверий, обычаев и самих приемов народа, с какими подходил он к вымыслу и поэзии. Пушкин отзывался о няне как о последнем своем наставнике и говорил, что этому учителю он много обязан исправлением недостатков своего первоначального французского воспитания.

В двух верстах от Михайловского лежит село Тригорское, где жило доброе, благородное семейство Прасковьи Александровны Осиповой, с которым Пушкин был в постоянных сношениях, часто там обедал, заходил туда в своих прогулках и проводил там целые дни, пользуясь искреннею дружбою и привязанностью всех членов семьи. Он посвятил Прасковье Александровне Осиповой свои подражания корану, написанные, можно сказать, перед ее глазами, и вообще семейство это действовало успокоительно на Пушкина. Он встречал в нем и строгий ум, и расцветающую молодость, и резвость детского возраста; усталый от увлечений первой эпохи своей жизни, Пушкин находил удовольствие в тихом чувстве и родственной веселости: грациозная гримаса, детская шалость нравились ему и занимали его. Две старшие дочери Осиповой от первого мужа, Анна и Евпраксия Вульф, составляли между собою такую же противоположность, какую мы видим между Татьяной и Ольгой в “Евгении Онегине”, и существуют догадки, что Пушкин написал свои бессмертные типы именно под влиянием созерцания этих двух барышень. Кроме них тут были еще многочисленные кузины, например, Анна Ивановна, впоследствии Трувенер (в семействе ее называли Netty), Анна Петровна Керн, оставившая записки о своем знакомстве с Пушкиным, Александра Ивановна Осипова (Алина), кузина Вельяшева; все они были почтены Пушкиным стихотворными изъяснениями, похвалами, признаниями и пр.

Но Пушкин, оставаясь холодным зрителем всех волнений этой мирной сельской жизни, мало принимал в них личного участия; мысль его постоянно жила в далеком, недавно покинутом крае. Получение писем из

Одессы с печатью, изукрашенной такими же кабалистическими знаками, какие находились и на его перстне, – постоянно составляло событие в уединенном Михайловском. Пушкин запирался тогда в своей комнате, никуда не выходил и никого не принимал к себе. Памятником настроения поэта при таких случаях служит стихотворение “Сожженное письмо” от 1825 года.

В то же время однообразие деревенской жизни так сильно тяготило Пушкина, что он постоянно рвался из своего заточения, мечтая о бегстве за границу. Уже в Одессе начались у Пушкина помыслы о бегстве; это видно из стихотворения “К морю” (1824 год), где говорится, что одна только страсть, приковав автора к берегу, помешала устроить ему “*поэтический побег*” и тем ответить на соблазнительные призывы “*свободной стихии*”. Затем, в письме к брату Льву Сергеевичу весной 1824 года из Одессы, Пушкин пишет, что он два раза просил о заграничном отпуске с юга России и оба раза не получал дозволения. “Осталось одно, – прибавляет он, – взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь. Святая Русь мне становится невтерпеж”. В Михайловском он постоянно строил планы бегства в сообществе со старшим сыном Осиповой, дерптским студентом А.Н. Вульф, который приезжал почти на все вакации зимой и летом в деревню и тотчас же посвящен был Пушкиным в свои замыслы. Сначала Вульф, мечтая ехать за границу, предлагал Пушкину увезти его с собой под видом слуги. Но затем, когда подобный фантастический замысел оказался неудобноисполнимым, друзья составили новый план. Пушкин выдумал у себя мнимый аневризм и обратился при посредстве родных с просьбою к высшим властям о разрешении ему отправиться в Дерпт лечиться у дерптского профессора хирургии И.Ф. Майера (родственника Жуковского). Друзьям казалось, что из Дерпта ничего уже не стоило удрать за границу. Но и этот план остался без осуществления, так как Пушкину вышло разрешение ехать лечиться всего-навсего в Псков.

Все это происходило в сентябре и октябре 1825 года, и в этих мечтах и порывах незаметно подкралось 14 декабря. Пушкин находился в Тригорском, когда дворовый человек Осиповой вернулся из Петербурга с известием, что там бунт, дороги перехвачены войсками, и он сам едва пробрался между ними на почтовых. Пушкин страшно побледнел, услышав новость, досидел кое-как вечер и уехал в Михайловское.

Всю ночь провел он в тревожных размышлениях о том, что он должен делать. Ему казалось необходимым явиться поскорее в среду новых людей, нуждающихся теперь в пособниках и советниках. И вот, не медля, ранним

утром следующего дня Пушкин уже выехал из Михайловского по направлению к Петербургу, но, не доехав до первой станции, он вернулся обратно в деревню вследствие дурных примет: именно, при выезде из Михайловского он встретил попа, а затем, когда выбрался в поле, заяц трижды перебежал ему дорогу.

Последствия бунта не замедлили оправдать эти дурные приметы. Пушкин пришел в ужас и первым делом начал бросать в огонь письма и бумаги, мало-мальски компрометирующие его; так, между прочим, сжег он свою автобиографию, которую писал в то время. Каждый день приносил известия об аресте лиц, всего менее подозревавшихся в чем-либо. Мало-помалу вокруг Пушкина начала образовываться пустота, словно после жаркой битвы. Несколько разрозненных и уцелевших личностей поглощено было теперь мыслью о спасении самих себя. То же приходилось делать и Пушкину. С каждым днем становилось яснее, что единственный способ выйти на свободу состоял в том, чтобы обратиться за нею к новому правительству, не имевшему таких поводов сердиться и преследовать его, как прежде. В начале 1826 года Пушкин уже пишет Дельвигу следующее любопытное письмо, видимо, составленное и перебеленное так, чтобы его можно было показывать кому следует: “Насилу ты мне написал, и то без толку, душа моя. Вообрази, что я в глуши ровно ничего не знаю; переписка моя отовсюду прекратилась, а ты пишешь мне, как будто вчера мы целый день были вместе и наговорились досыта. Конечно, я ни в чем не замешан, и если правительству досуг подумать обо мне, то оно в том легко удостоверится. Но просить мне как-то совестно, особливо ныне; образ мыслей моих известен. Гонимый шесть лет сряду, замаранный по службе выключкою, сосланный в глухую деревню за две строчки перехваченного письма, я, конечно, не мог доброжелательствовать покойному царю, хотя и отдавал полную справедливость истинным его достоинствам, но никогда я не проповедовал ни возмущения, ни революции. Напротив. Класс писателей, как заметил Alfieri, более склонен к умозрению, нежели к деятельности. И если 14 декабря доказало у нас иное, то на это есть особая причина. Как бы то ни было, я желал бы *вполне и искренно* помириться с правительством, и, конечно, это ни от кого кроме него не зависит. В этом желании более благоразумия, нежели гордости, с моей стороны. С нетерпением ожидаю решения участи несчастных и обнаружения заговора. Твердо надеюсь на великодушие молодого нашего царя. Не будем ни суеверны, ни односторонни, как французские трагики; но взглянем на трагедию взглядом Шекспира. Прощай, душа моя”.

Друзья Пушкина не замедлили принять горячее участие в его

стремлении к освобождению, и из Петербурга сообщены были ему правильные, формальные пути к этому. Пушкин исполнил в точности программу друзей, и, когда наступила надлежащая минута, он представил псковскому губернатору Адеркасу следующее прошение на Высочайшее имя:

“Всемиловейший Государь! В 1824 году, имев несчастье заслужить гнев покойного Императора легкомысленным суждением касательно афеизма, изложенным в одном письме, я был исключен из службы и сослан в деревню, где и нахожусь под надзором губернского начальства.

Ныне, с надеждой на великодушие Вашего Императорского Величества, с истинным раскаянием и с твердым намерением не противоречить моими мнениями общепринятому порядку (в чем я готов обязаться подпиской и честным словом), осмелился я прибегнуть к Вашему Императорскому Величеству со всеподданнейшею моею просьбою:

Здоровье мое, расстроенное в первой молодости, и род аневризма давно уже требуют постоянного лечения, в чем и представляю свидетельство медиков: осмеливаюсь всеподданнейше просить позволения ехать для сего или в Москву, или в Петербург, или в чужие края”.

К прошению были приложены медицинское свидетельство Псковской врачебной управы болезни Пушкина и следующее обязательство его: “Я, нижеподписавшийся, обязуюсь впредь ни к каким тайным обществам, под каким бы они именем ни существовали, не принадлежать; свидетельствую при сем, что ни к какому тайному обществу таковому не принадлежал и не принадлежу и *никогда не знал о них*. 10-го класса Александр Пушкин. 11 мая 1826 года”.

Прошение Пушкина, препровожденное Адеркасом генерал-губернатору, маркизу Пауллуччи, а им графу К.В. Нессельроде, лежало без движения в Москве, куда переехал двор, до дня коронавания. Через шесть дней после этого события, именно 28 августа, состоялась высочайшая резолюция о препровождении Пушкина с фельдъегерем в Москву.

Между тем как во внешней жизни Пушкина происходили все эти события, во внутреннем мире его совершился весьма важный переворот во время его пребывания в Михайловском. Здесь он окончательно отделался

от байронизма и увлекался теперь уже Шекспиром. Поэма “Цыганы”, написанная в 1824 году, была последнею данью направлению, которому он подчинялся на юге. Уже в 1825 году он пишет Н.Н. Раевскому: “Правдоподобие изложений и истина разговора – вот настоящие законы трагедии. Я не читал ни Кальдерона, ни Беги, но что за человек Шекспир! Не могу прийти в себя! Как ничтожен перед ним Байрон-трагик, этот Байрон, всего-навсего постигший только один характер (у женщин нет характера; у них страсти в их молодости, и вот почему так легко выводить их). И вот Байрон разделил между своими героями те и другие черты собственного характера: одному дал свою гордость, другому – свою ненависть, третьему – меланхолию и проч., и таким-то образом из одного характера – полного, мрачного и энергичного – создал множество характеров ничтожных. Это вовсе уж не трагедия”...

Увлечение Шекспиром повело Пушкина к весьма благотворным результатам. Во-первых, под влиянием великого драматурга, умевшего сохранять гениальную простоту и верность действительности даже в моменты самого трагического пафоса, Пушкин окончательно вступает на путь реализма. Недаром в том же самом письме он говорит: “Есть и еще заблуждение: задумав какой-нибудь характер, стараются высказать его даже в самых обыкновенных вещах (таковы педанты и моряки в старых романах Фильдинга). Заговорщик говорит “дайте мне пить” – как заговорщик, а это смешно. Вспомните Байронова “Озлобленного”: “Он заплатил!” Это однообразие, тупость лаконизма, непрерывная ярость – разве это естественно? Отсюда и неловкость, и робкость разговора. Читайте Шекспира. Нисколько не боясь скомпрометировать свое действующее лицо, он заставляет его разговаривать *с полной непринужденностью жизни*, ибо уверен, что в свое время и в своем месте он найдет язык, соответствующий его характеру”.

Во-вторых, под влиянием изучения Шекспира и особенно его хроник, Пушкин тогда уже начал проникаться тем исторически объективным взглядом на жизнь, какой мы видим во всех крупных произведениях последнего периода его деятельности. Наконец Шекспиру же был обязан Пушкин и тем, что он с большим еще усердием, чем прежде, бросился на собирание русских песен, пословиц, на изучение русской истории, и так как силы его пришли в лихорадочное напряжение вследствие чтения Шекспира, то он тотчас же и предался мысли осуществить все им навеянное и указанное и в течение 1825 года написал свою “Комедию о царе Борисе”, которой простался со всеми старыми своими направлениями и начинал новый период своего развития.

Одновременно с драмою “Борис Годунов” Пушкин успел написать в Михайловском: шесть глав “Евгения Онегина”, “Графа Нулина”, в свою очередь навеянного чтением Шекспира, и свои записки, сожженные им после 14 декабря. Наконец, под впечатлением чтения Тацита, которое он сопровождал своими “заметками”, он тогда уже написал стихотворную часть “Египетских ночей”. Мы не упоминаем здесь о массе мелких его произведений, написанных в это же время. Так богата и плодотворна была его поэтическая деятельность в тиши уединения села Михайловского.

ГЛАВА VI. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ХОЛОСТОЙ ЖИЗНИ А.С. ПУШКИНА 1826-1831

Появление в селе Михайловском фельдъегеря, приехавшего за Пушкиным, произвело всеобщий ужас и недоумение. Всем показалось, что поэт совсем исчезал из числа живых. Это было 2 или 3 сентября. Пушкин весело провел вечер в Тригорском и часу в 11-м отправился домой, провожаемый до дороги, по обыкновению, молодым женским поколением семьи. На другой день рано утром в Тригорское прибежала няня Пушкина, Арина Родионовна, с поразительным известием, что какой-то человек, не то солдат, не то офицер, прискакавший в Михайловское под вечер, увез с собою Пушкина, и притом так заторопил его, что Пушкин успел только накинуть на себя шинель и захватить деньги.

По приезде в Москву Пушкин был тотчас же представлен императору Николаю. Вот как рассказывал впоследствии А. Г. Хомутовой об этом представлении сам Пушкин:

“Фельдъегерь подхватил меня из моего насильственного уединения и на почтовых привез в Москву, прямо в Кремль, и, всего покрытого грязью, меня ввели в кабинет императора, который сказал мне:

– Здравствуй, Пушкин, доволен ли ты своим возвращением?
– Я отвечал, как следовало. Государь долго говорил со мною, потом спросил: – Пушкин, принял ли бы ты участие в 14-м декабря, если бы был в Петербурге? – Непременно, государь: все друзья мои были в заговоре, и я не мог бы не участвовать в нем. Одно лишь отсутствие спасло меня, за что я благодарю Бога! – Довольно ты надурачился, – возразил император, – надеюсь, теперь будешь рассудителен, и мы более ссориться не будем. Ты будешь присылать ко мне все, что сочинишь; отныне я сам буду твоим цензором”.

Сверх того рассказывают еще о следующей подробности свидания Пушкина с императором Николаем: поэт и здесь остался поэтом. Ободренный снисходительностью государя, он делался более и более свободен в разговоре; наконец дошел до

того, что, незаметно для себя самого, притулился к столу, который был позади него, и почти сел на этот стол. Государь быстро отвернулся от Пушкина и потом говорил: “С поэтом нельзя быть милостивым”.

Между тем весть об освобождении Пушкина по милостивой аудиенции, полученной им у государя, быстро разнеслась по Москве, и в торжествах, сопровождавших день коронации, она была радостно встречена публикой, особенно литературно образованной. И в великосветских салонах, и в литературных кружках Пушкин был принят как первый гость; везде встречали его восторженные овации и поклонение. После шестилетней ссылки, увлекшись свободой, Пушкин весело кружился в шуме и вихре московской жизни, только что отпраздновавшей коронацию. То было горячее литературное время в Москве: на непрерывных и многочисленных литературных собраниях обсуждались животрепещущие вопросы, литературные и философские, начиная с судеб русской словесности до судеб самой России. Пушкин все более и более сходил с молодыми московскими литераторами: был на обеде у Хомякова в честь основания “Московского вестника” и затем на двух собраниях читал свою новую, только что написанную драму, сначала у С.А. Соболевского, а потом у Веневитинова. На первом чтении слушатели состояли из тесного, интимного кружка близких знакомых хозяина: П.Я. Чаадаева, Д.В. Веневитинова, графа М.Ю. Вильеговского и И.В. Киреевского. Второе же чтение, 12 сентября, происходило при многочисленном собрании ученых и литераторов; здесь, кроме братьев Веневитиновых, присутствовали братья Хомяковы, Киреевские, Мицкевич, Баратынский, Шевырев, Погодин, Раич, Соболевский и др. Чтение это кончилось овациями. “Мы смотрели друг на друга долго, – вспоминает об этом чтении Погодин, – и потом бросились к Пушкину; начались объятия, поднялся шум, раздался смех, полились слезы, поздравления... Явилось шампанское, и Пушкин одушевился, видя такое действие на избранную молодежь. Ему было приятно наше волнение. Он начал нам, поддавая жару, читать песни о Стеньке Разине, как он выплывал ночью по Волге на востроносой своей лодке; предисловие к “Руслану и Людмиле”; начал рассказывать о плане для “Дмитрия Самозванца”, о палаче, который шутит с чернью, стоя у плахи на

Красной площади в ожидании Шуйского, о Марине Мнишек с Самозванцем, – сцену, которую написал он, гуляя верхом, и потом позабыл половину, о чем глубоко сожалел. О, какое удивительное то было утро, оставившее следы на всю жизнь! Не помню, как мы разошлись, как dokonчили день, как улеглись спать. Да едва ли кто и спал из нас в эту ночь. Так был потрясен весь наш организм!”



Пушкин. Автопортрет. 1829 год.

Но недолго продолжалось радостное настроение Пушкина под первым впечатлением только что полученной свободы. Он не замедлил вскоре горько разочароваться и убедиться, что эта свобода была крайне условна и ограничена. Между тем как он беспечно наслаждался светскою жизнью в Москве и упивался литературными овациями, он и не заметил, как нажил себе врага во всесильном графе Бенкендорфе, который каждый день ждал от него визита, но, не дождавшись, обратился к нему со следующим письмом от 30 сентября:

“Милостивый Государь Александр Сергеевич! я *ожидал* *приезда* *Вашего*, чтобы объявить высочайшую волю по просьбе вашей, но, отправляясь теперь в С.-Петербург *и не надеясь* *видеть* *здесь*, честь имею уведомить, что государь император не только не запрещает приезда *Вашего* в столицу, но предоставляет совершенно на *Вашу* волю, с тем только, чтобы предварительно испрашивали разрешения чрез письмо. Его величество

совершенно остается уверенным, что Вы употребите отличные способности Ваши на предание потомству славы нашего отечества, передав вместе бессмертию имя Ваше. В сей уверенности, Его Императорскому Величеству благоугодно, чтоб Вы занялись предметами о воспитании юношества. Вы можете употребить весь досуг, Вам предоставляется совершенная и полная свобода – когда и как представить ваши мысли и соображения, и предмет сей должен представить Вам тем обширнейший круг, *что на опыте видели совершенно все пагубные последствия ложной системы воспитания.* Сочинений Ваших никто рассматривать не будет: на них нет никакой цензуры. Государь Император сам будет и первым ценителем произведений Ваших, и цензором. Объявляя Вам его монаршую волю, честь имею присовокупить, что как сочинения Ваши, так и письма можете до представления его величеству доставлять ко мне; но, впрочем, от Вас зависит и прямо адресовать на высочайшее имя”.

Пушкин и не заметил в этом письме намек графа Бенкендорфа на то, что поэт не удостоил его посещением. Напротив того, он был в восхищении от письма графа и показывал его всем и каждому как выражение лестной для него царской милости. Он воображал, что в подчинении его высочайшей цензуре самого государя заключается такое же доверие к нему, каким пользовался некогда Карамзин. Но он не замедлил горько разочароваться в этом. В письме графа Бенкендорфа не было договорено самого главного: именно, что Пушкин не только не мог ничего печатать до высочайшего просмотра, но и показывать кому-либо вновь написанное. И вот, когда Пушкин мирно отдыхал в селе Михайловском после всех московских оваций, вдруг он получает 22 ноября следующего рода строгое внушение от графа Бенкендорфа:

“Милостивый Государь Александр Сергеевич! При отъезде моем из Москвы, не имея времени лично с Вами переговорить, обратился я к Вам письменно с объявлением высочайшего соизволения, дабы Вы, в случае каких-либо новых литературных произведений Ваших, до напечатания и распространения оных в рукописях, представляли бы предварительно о рассмотрении оных, или через посредство мое, или даже прямо его императорскому величеству. Не имея от Вас извещения о

получении моего отзыва, я должен, однако же, заключить, что оный к Вам дошел, ибо Вы сообщали о содержании оногo некоторым особам. Ныне доходят до меня сведения, что Вы изволили читать в некоторых обществах сочиненную Вами вновь трагедию. Это меня побуждает Вас покорнейше просить об уведомлении меня: справедливо ли такое известие, или нет? Я уверен, впрочем, что Вы слишком благомыслящи, чтоб не чувствовать в полной мере великодушного к Вам монаршего снисхождения и не стремиться учинить себя достойным оногo”.

Письмо это произвело на Пушкина самое подавляющее впечатление. Он убедился, что участь его чуть ли не более зависит от графа Бенкендорфа, чем от государя, и тотчас же написал в Москву М.П. Погодину, с которым он условился участвовать в его новом журнале, чтобы тот остановил печатание его произведений: “Милый и почтенный, – писал он, – ради Бога, как можно скорее остановите в московской цензуре все, что носит мое имя. Покамест не могу участвовать и в вашем журнале; но все перемелется и будет мука, а нам – хлеб да соль. Некогда пояснять; до скорого свидения. Жалею, что договор наш не состоялся”.

В тот же день (29 ноября) он послал графу Бенкендорфу извинительное письмо, в самых подобострастных и льстивых выражениях объясняя, что он действительно в Москве читал свою трагедию некоторым особам – конечно, не из ослушания, но только потому, что худо понял высочайшую волю государя. Вместе с тем он препровождал на высочайшее усмотрение свою трагедию. Затем, по требованию графа Бенкендорфа, были высланы и стихи, предназначенные Пушкиным к печати, каковы были: “Анчар”, “Стансы”, 3-я глава “Онегина”, “Фауст”, “Друзьям” и “Песни о Стеньке Разине”. Все эти произведения, кроме двух последних, были разрешены. Относительно “Песен о Стеньке Разине” граф Бенкендорф писал Пушкину, что “оне, при всем своем поэтическом достоинстве, по содержанию своему неприличны к напечатанию, и что, сверх того, церковь проклинает Разина, равно как и Пугачева”. Песни эти не были возвращены Пушкину, и они до сих пор не отыскиваются ни в подлиннике, ни в списках.

В декабре последовал доклад графа Бенкендорфа государю о драме Пушкина. Император, прочтя драму, заметил некоторые места, требующие очищения, и то, что цель была бы более выполнена, если бы сочинитель переделал свою комедию в исторический роман, наподобие романов В.Скотта. Пушкин отвечал графу Бенкендорфу на извещение его об этом:

“С чувством глубочайшей благодарности получил я письмо Вашего превосходительства, уведомляющее меня о всемилостивейшем отзыве Его Величества касательно моей драматической поэмы. Согласен, что она более сбивается на исторический роман, нежели на трагедию, как Государь Император изволил заметить. Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное”.

Приняв этот высочайший отзыв за неблагоприятный, Пушкин положил свою драму в портфель, где она пролежала до 1829 года, когда он решился вновь представить ее на высочайшее благоусмотрение. Но и второй раз пьеса не получила одобрения; потребовалось переменить некоторые тривиальные места, слова и выражения, слишком простонародные и нарушающие скромность, заменить название “комедия” драмою, и лишь после новых изменений пьеса могла явиться в свет в 1831 году.

В конце того же 1826 года Пушкин представил графу Бенкендорфу заказанную “Записку о народном воспитании”, где ясно отражается вся та паника, которую переживал поэт в это время. Вы видите в ней поразительное сплетение подчинения взглядам государственных сановников, вроде графа Бенкендорфа, со стремлением провести либеральную тенденцию. Тем не менее записка не понравилась, и граф Бенкендорф 23 декабря 1826 года, извещая Пушкина, что государь с удовольствием читал рассуждение его и изъявляет ему высочайшую признательность, прибавил: “Его Величество при сем заметить изволил, что принятое Вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, *завлекшее вас самих на край пропасти* и повергшее в оную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие – предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано благонаправленное воспитание. Впрочем, рассуждения Ваши заключают в себе много полезных истин”.

Все это показывает, какими подозрительными глазами еще смотрели на Пушкина и как тесен был круг дарованной ему свободы. Отечественные внушения графа Бенкендорфа преследовали поэта не только за каждый мало-мальски неосторожный шаг, но без всякого повода, в зачет, так сказать, будущего. Так, например, в начале 1827 года он обратился с просьбою о разрешении приезда в Петербург по семейным обстоятельствам, и хотя разрешение было ему дано, но граф Бенкендорф не преминул при этом внушить поэту: “Его Величество не сомневается в том, что данное русским дворянином государю своему честное слово вести себя

благородно и пристойно будет в полном смысле сдержано”.

Благонадежность Пушкина еще более поколебалась в глазах полиции, когда в 1827 году возгорелось дело о стихотворении “Андрей Шенье”. Стихотворение это, посвященное Н.Н. Раевскому, было написано Пушкиным в начале 1825 года и помещено в первом собрании его стихотворений, изданном в 1826 году. Цензура, рассмотрев стихотворение 8 октября 1825 года (следовательно, за два месяца до 14 декабря), выпустила из него 44 стиха, со стиха “Приветствую тебя” и до стиха “И буря мрачная”. Между тем этот отрывок распространился по Москве как стихотворение, написанное будто бы Пушкиным специально по поводу 14 декабря. Один из списков с надписью “По поводу 14 декабря”, принадлежавший кандидату московского университета Ал. Леопольдову, попал в руки полиции, и вот возгорелось дело, длившееся два года. Пушкин неоднократно был призываем по этому делу, и относительно его состоялся следующий указ правительственного сената: “Хотя Пушкина надлежало подвергнуть ответу перед судом, но как преступление сделано им до манифеста 22 августа 1826 года, то, избавя его от суда и следствия, обязать подпискою впредь никаких своих стихотворений без рассмотрения цензуры не осмеливаться выпускать в свет, под опасением строгого по законам взыскания”. Государственный совет, сверх этого, усмотрев в самых ответах Пушкина на следствии неприличные выражения, присудил его к секретному полицейскому надзору. Замечательно, что это определение государственного совета, состоявшееся 29 августа 1828 года, при постоянных разъездах Пушкина, следовало за ним по пятам из губернии в губернию и, наконец, было объявлено ему московскою полициею лишь в конце января 1831 года, за несколько дней до свадьбы.

Все эти неприятности сильно влияли на расположение духа Пушкина и его душевное спокойствие. Он часто теперь хандрил, находился в раздраженном, нервном состоянии; раскаяние о годах молодости, утраченных в “праздности, в неистовых пирах, в безумстве гибельной свободы”, мысли о смерти начали посещать его чаще и чаще. Он ведет теперь кочующую жизнь, нигде не оставаясь более нескольких месяцев, словно не может найти себе места на земле. Трудно следить за всеми его постоянными переездами в этот период времени. То он бросается в омут столичной жизни и стремится словно забыться от снедающей его тоски, снова предаваясь светским развлечениям, оргиям и картам; то, напротив того, бежит из столиц и клянет столичную жизнь. Так, например, летом 1827 года он писал П.А. Осиповой: “Нелепость и глупость наших обеих столиц равносильна, хотя и различна, и так как я стараюсь быть

беспристрастным, то если бы мне представлен был выбор между обоими городами, я избрал бы Тригорское, подобно арлекину, который на вопрос, что он предпочитает – быть колесованным или повешенным – отвечал: я предпочитаю молочный суп”. В свою очередь, в январе 1828 года он пишет в Тригорское: “Для меня шум и суета петербургской жизни делаются все более и более несносными, и я с трудом их переношу. Я предпочитаю ваш прекрасный сад и прелестный берег Сороти; видите, милостивая государыня, что настроение мое еще поэтично, несмотря на гадкую прозу моей настоящей жизни”. В то время, как городская жизнь его раздражает и злит, деревня, совершенно наоборот, сравнительно с его юными годами, успокаивает его нервы, он снова делается среди деревенской обстановки ясен душой и весел. Так, уехавши осенью 1828 года в Малинники, деревню Тверской губернии, принадлежавшую Прасковье Александровне Осиповой, он пишет оттуда Дельвигу в ноябре: “Здесь очень весело. Прасковью Александровну люблю душевно; жаль, что она хворает и все беспокоится. Соседи ездят смотреть на меня, как на собаку Мунито (ученая собака, которая в то время показывалась в Петербурге). Скажи это графу Хвостову. Петр Маркович (Полторацкий, родственник Осиповой) здесь повеселел и уморительно мил. На днях было сборище у одного соседа; я должен был туда приехать. Дети его родственницы, балованные ребятишки, хотели непременно туда же ехать. Мать принесла им изюму и черносливу и думала тихонько от них убраться; но Петр Маркович их взбудоражил; он к ним прибежал: “Дети! Дети! Мать вас обманывает! не ешьте чернослива, поезжайте с нею – там будет Пушкин, весь сахарный, а зад его яблочный; его разрежут, и всем вам будет по кусочку”. Дети разревелись: “Не хотим чернослива, хотим Пушкина”. Нечего делать, их повезли – и они сбежались ко мне, облизываясь, но, увидев, что я не сахарный, а кожаный, совсем опешили. Здесь очень много хорошеньких девчонок. Я с ними вожусь платонически и оттого толстею и поправляюсь в моем здоровье”.

Но эти возвраты ясного и резвого настроения духа, словно последние проблески юности, посещают Пушкина теперь довольно редко и быстро сменяются снова тревожным и мрачным настроением, и снова он мечется, не зная, куда ему деться. Так, в начале турецкой войны он заявляет вдруг желание участвовать в ней. В январе 1830 года просится за границу или сопровождать нашу миссию в Китай. Все эти планы не получили разрешения. Зато в марте 1829 года он, не испрашивая никакого разрешения, уехал на Кавказ, где, находясь в русском лагере под Арзрумом, словно нарочно искал смерти, становясь под неприятельские пули. Плодом этой поездки и было его “Путешествие в Арзрум во время похода 1829

года”.

Самовольное путешествие на Кавказ, равно как и стремительный переезд из Петербурга в Москву в марте 1830 года с целью ухаживания за своею будущею женою, не обошлись Пушкину без нагоняя со стороны графа Бенкендорфа, и он писал Пушкину, что “все неприятности, которым он может подвергнуться за своевольные поступки, он должен будет отнести к *собственному своему поведению*”. Удрученный этим письмом, Пушкин отвечал, что с 1826 года он каждую весну проводил в Москве, а осень в деревне, никогда не испрашивая предварительного разрешения и не получая никакого замечания; что это отчасти было причиной и невольного проступка его – поездки в Арзрум. Вместе с тем он выражал горечь, которую приносят ему выговоры, и, описывая себя в гонении, говорил, что другие еще более злопамятствуют ему, и что граф Бенкендорф *остаётся единственным его защитником*. “Если завтра, – прибавил он, – Вы не будете министром, то послезавтра меня посадят в тюрьму”. При этом поэт жаловался на Булгарина, который хвалился близостью к графу Бенкендорфу и, злясь на него, по словам поэта, за критики, впрочем не им писанные, готов в остервенении своем решиться на все.

Граф Бенкендорф успокаивал Пушкина, уверяя, что Булгарин никогда не говорил ему ничего дурного о нем, что журналист этот вовсе не близок к нему и если бывал у него, то разве один или два раза в год; что в последнее время он призывал к себе Булгарина только для того, чтобы обуздать его.

К этому же времени относится сватовство Пушкина. Он познакомился с семейством Натальи Николаевны Гончаровой еще в 1828 году, когда ей было всего 15 лет. Он был представлен ей на бале и тогда же сказал, что участь его навеки связана с молодой особой, обращавшей на себя всеобщее внимание. В 1830 году прибытие части Высочайшего двора в Москву оживило столицу и сделало ее средоточием увеселений и празднеств. Наталья Николаевна участвовала во всех удовольствиях, которыми встретила древняя столица Августейших гостей, и между прочим в великолепных живых картинах, данных московским генерал-губернатором Дм. Вл. Голицыным. Молва о ее красоте и успехах достигла Петербурга, где жил тогда Пушкин. И вот, стремительно уехав в Москву, как мы выше говорили, он возобновил прежние свои искания. В самый день Светлого Воскресения 21 апреля 1830 года он сделал семейству Натальи Николаевны предложение, которое и было принято.



Жена Пушкина (урожденная Гончарова)

Вслед за тем на исходе лета Пушкин отправился в Петербург для устройства своих дел и переговоров с отцом касательно основания будущего своего дома и состояния. Сергей Львович выделил сыну часть своего родового имения Болдина Нижегородской губернии, и Пушкин отправился туда в августе 1830 года для принятия своего наследства. В Болдине провел он осень и часть зимы, окруженный со всех сторон карантинами по случаю холеры, и, равнодушный к своей собственной особе, сильно беспокоился об участи родных. Только в декабре успел он пробраться в Москву со свидетельством для залога в Опекунском совете выделенной ему части. Новый 1831 год застал его в приготовлениях к женитьбе, но за месяц до свадьбы его расположение духа было вновь омрачено известием о смерти Дельвига 14 января 1831 года, и эта внезапная смерть ближайшего друга и однокашника сильно потрясла его и глубоко огорчила. Наконец в среду 18 февраля 1831 года, в Москве, в церкви Старого Вознесения, Пушкин был обвенчан с Н. Н. Гончаровой.

Несмотря на все скитальчество в рассматриваемые нами годы жизни Пушкина, этот период жизни был самый плодотворный в творческой его деятельности. Так, мы видим, что тот реализм, на путь которого решительно выступил Пушкин в конце своего пребывания в селе

Михайловском, не замедлил привести его к попыткам в той форме, которая наиболее соответствует этому литературному направлению, – именно в форме прозаического романа. И вот летом и в начале осени 1827 года Пушкин написал большую часть исторической повести “Арап Петра Великого” и сразу создал тот безыскусственно простой, кристально чистый и вместе с тем в высшей степени художественный повествовательный слог, который и до сих пор остается неподражаемым.

Писание исторической повести из эпохи Петра показывает, что Пушкин в то время занимался историческим изучением этой эпохи. Но колоссальная личность Петра так поразила и вдохновила поэта, что он не мог ограничиться одной прозой; и вот он тогда же предпринял воспеть великого преобразователя России в поэме. Замечательно, что, вопреки своему обыкновению замыкаться осенью для своих поэтических работ в деревне, Пушкин поехал в Петербург словно нарочно для того, чтобы воспеть Петра на самом месте его кипучей деятельности, и вот здесь осенью того же года он создал свою “Полтаву”. Как сильно было напряжение творчества в этот раз, мы можем судить по тому, что поэма была написана всего-навсего в 13 дней, причем Пушкин отнюдь не уединялся от света, а вел такую же светскую и рассеянную жизнь, как и всегда, когда был в столице.

Второй не менее сильный порыв творчества в этот период своей жизни Пушкин испытал осенью 1830 года, в Болдине, когда в какие-нибудь два-три месяца он написал, как сам говорит в письме Плетневу, “две последние главы “Онегина”, совсем готовые для печати; повесть, писанную октавами (“Домик в Коломне”); несколько драматических сцен: “Скупой рыцарь”, “Моцарт и Сальери” и “Дон-Жуан”. Сверх того я написал около тридцати мелких стихотворений. Еще не все: написал прозой (весьма секретно) пять повестей (“Повести Белкина”). В этот список не попали еще “История села Горюхина” и “Пир во время чумы”.

ГЛАВА VII...ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ ПУШКИНА 1831-1837

Прожив до весны в Москве, новобрачные после Святой выехали в Петербург, и Пушкин переехал со своею женою на дачу в Царское Село, где в это лето проживал и Жуковский. В Петербурге вскоре развилась холера, что затруднило сношения с городом, и Пушкин, “прижатый”, как он выражался, к Царскому Селу, был предоставлен небольшому обществу друзей, великолепным садам дворца, семейным радостям медовых месяцев и воспоминаниям золотых дней своего детства. Здесь Пушкин, под влиянием общего положения дел того времени, отчасти и друга своего Жуковского, утомленный всеми теми гонениями, которые он испытал в предшествовавшие годы, впервые выступил на поприще того официального патриотизма, который, не избавив его от тени подозрения, лежавшей на нем в глазах высшей администрации, в то же время произвел охлаждение к нему в значительной части русского общества. 5 августа написано было им стихотворение “Клеветникам России”, за которым вскоре последовала “Бородинская годовщина”. Там же, в Царском Селе, состязаясь с Жуковским, Пушкин написал свои сказки “О царе Салтане”, “О попе Остолопе”, “О мертвой царевне”, “О золотом петушке”.

Впрочем, патриотические стихотворения не остались совсем без следа, и 14 ноября 1831 года Пушкин зачислен был на службу в ведомство Государственной Коллегии иностранных дел с жалованьем 5 тысяч ассигнациями в виде особенной высочайшей милости. Вместе с тем ему был дозволен вход в Государственные архивы для собирания материалов к истории Петра Великого, чем он и не замедлил воспользоваться в ту же зиму, по переезде с дачи в Петербург. Из квартиры своей в Морской отправлялся он каждый день в различные ведомства, предоставленные ему для исследований. Он предался новой работе с жаром, почти со страстью. Так протекла зима 1831 года. 7 января следующего года он был принят в число членов Императорской Российской Академии и начал прилежно посещать заседания Академии по субботам. Плодом этих посещений были статьи его “Российская Академия” и “О мнении М.А. Лобанова”. Весной 1833 года он переехал на дачу, на Черную речку, и отправлялся каждый день в архив, туда и обратно пешком; когда же чувствовал утомление, шел купаться, и этого средства было достаточно, чтобы снова возвратить ему

бодрость и силы. В архивах Пушкин не ограничивался одним собиранием материалов к истории Петра; ему попало случайно под руки несколько бумаг, относящихся к Пугачевскому бунту: он быстро увлекся изучением этого события и вскоре весь ушел в него. При такой непрерывной и страстной деятельности, к осени 1833 года у него были уже готовы материалы для “Истории Пугачевского бунта”, написана вчерне “Капитанская дочка”, и сверх этого были совсем отделаны “Русалка” и “Дубровский”.

Не ограничиваясь одними архивными изысканиями, Пушкин, как истый реалист, предпринял тогда уже то, что ныне, полстолетия спустя, ставят в особенную заслугу современным нам французским натуралистам как нечто новое, ими только что введенное: именно он захотел посетить все места, ознаменованные Пугачевским бунтом. И вот осенью в 1833 году он совершил поездку по Казанской, Симбирской, Пензенской и Оренбургской губерниям. Везде он, обозревая местности, в то же время искал живых преданий и свидетельств очевидцев. Так, в Казани он провел с этою целью полтора часа у некоего старожила, купца Крупенина; в Оренбургской губернии разговаривал со стариком Дмитрием Пьяновым, сыном того Пьянова, о котором упоминается в “Истории Пугачевского бунта”, а в селении Берды встретил старую казачку, помнившую происшествия того времени очень живо. Он пишет, что чуть не влюбился в нее, несмотря на малопривлекательную наружность. В Уральске Пушкин был принят с большим радушием всем обществом города, соединившимся в обед, данном в честь поэта.

Истратив на все это путешествие месяц, Пушкин возвратился в Болдино 2 октября, до конца ноября пробыл в деревне, после чего возвратился в Петербург на службу. В этот промежуток времени были им закончены “Сказка о рыбаке и рыбке”, “Песни западных славян”, которые он писал между делом, в течение 1832 и 1833 годов, “Медный всадник” и “История Пугачевского бунта”.

По прибытии в Петербург Пушкин представил в декабре 1833 года на рассмотрение начальства свою “Историю Пугачевского бунта” и получил дозволение на издание ее; сверх того, в виде награды, он был пожалован в камер-юнкеры, а на напечатание книги дано ему было заимообразно 20 тысяч руб. ассигнациями с правом избрать одну из казенных типографий.

По-видимому, Пушкин был наверху милостей, почестей и славы; со стороны могло казаться, что жизнь улыбается ему как нельзя более. А на самом деле он был глубоко несчастный человек, и тысячи острых пил со всех сторон подтачивали его существование. Начать с того, что положение

Пушкина было крайне двусмысленно. С одной стороны казалось, что это было поднятие в высшие сферы общества, весьма льстившее тщеславию поэта; но в то же время это внешнее возвышение соединялось с целым рядом нравственных унижений всякого рода. Пушкин не мог войти в высшие сферы человеком, равным людям, находившимся в них, ни по своему состоянию, ни по родовитости, что неотразимо развивало в нем болезненную мнительность, при которой каждый неотплаченный визит, малейший признак небрежности в отношениях к нему и к его дому раздувались в его воображении в умышленное пренебрежение к нему, в желание доказать ему, что он сидит не в своих санях. В то же время это новое положение, при всей его кажущейся высоте, носило характер своего рода заточения, так как оно было обязательно: Пушкин не мог самовольно выйти из него, видя его ненормальность, не мог даже жить, где ему вздумалось бы; когда же он просился в отставку, ему или отказывали, или грозили опалю, лишениями – вроде запрещения посещать архивы.

Особенно положение Пушкина при дворе сделалось тягостно, когда ему пожаловали камер-юнкерство. Это придворное звание было уже не по летам Пушкина, и положение его невольно было комично, когда ему приходилось на выходах стоять среди безбородых юношей. Этим и объясняются исполненные горечи слова его дневника от 1 января 1834 года:

“Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам). Меня спрашивали, доволен ли я моим камер-юнкерством. – Доволен, потому что государь имел намерение отличить меня, а не сделать смешным; а по мне хоть в камер-пажи, только бы не заставили меня учиться французским вокабулам и арифметике”. Отсюда же вытекает и ответ его великому князю, который поздравил его в театре с назначением: “Покорнейше благодарю, ваше высочество; до сих пор все надо мною смеялись, вы первый меня поздравили”.

Самое исполнение придворных этикетов в камер-юнкерском мундире крайне тяготило Пушкина своею формальностью, соединенной с выговорами и замечаниями чисто школьного характера. “Третьего дня, – писал он своей жене, – возвратился я из Царского в 5 часов вечера, нашел на своем столе два билета на бал 29 апреля и приглашение явиться на другой день к Литте; я догадался, что он собирается мыть мне голову за то, что я не был у обедни. В самом деле, в тот же вечер узнаю от забежавшего ко мне Жуковского, что государь был недоволен отсутствием

многих камергеров и камер-юнкеров и что он велел им это объявить. Я извинился письменно. Говорят, что мы будем ходить попарно, как институтки. Вообрази, что мне с моей седой бородкой придется выступать с Безобразовым или Реймерсом – ни за какие благополучия! Taite mieux avoir le fouet devant tout le monde,^[12] как говорит mr. Jourdain”

В то же время обязательная придворная жизнь, навязанная Пушкину, соединенная с выходами, приемами, нарядами жены, требовала таких расходов, которые были совершенно не по средствам Пушкина, оставшегося при своем высоком положении все тем же помещиком средней руки, да еще помещиком с крайне расстроенным состоянием. Все имения родных его к этому времени успели прийти в полный упадок. Мы уже заметили выше, что управляющий, честный немец, посланный в Болдино, убежал оттуда в ужасе. Тщетно умолял Пушкин своих родных поселиться года на два, на три в Михайловском. Сергей Львович пришел в ужас и неистовство от перспективы закабаления в деревенскую глушь. “Вы не можете вообразить, – пишет Пушкин к Осиповой 29 июня 1835 года, – как тяготит меня управление этим имением (Болдино). Нет никакого сомнения, что спасти Болдино необходимо, хотя бы только для Ольги и Льва, которым в будущем предстоит нищенство или, по крайней мере, бедность. Но я и сам не богат, я имею собственное семейство, которое зависит от меня и которое без меня впадет в крайность. Я взял имение, которое, кроме хлопот и неприятностей, ничего мне не приносит. Родители мои и не знают, что они шагах в двух от разорения; если бы они могли решиться пробыть несколько лет в Михайловском, дела могли бы поправиться; но этого никогда не будет.

И вот, как неизменные спутники разорения, пошли залого и перезалоги имений, беспрестанные хлопоты о том, где бы и как бы раздобыть денег, а долги росли не по дням, а по часам. К тем 20 тысячам руб., которые Пушкин получил заимообразно на издание Пугачева, присоединился новый казенный долг: именно 16 августа 1835 года пожаловано было ему в ссуду 30 тысяч руб. ассигнациями без процентов, с тем, чтобы в уплату общей суммы долга, возросшей таким образом до 50 тысяч, шло получаемое им жалованье, по 5 тысяч руб. в год. Но вслед за тем, перед самою смертью уже, Пушкин вновь хлопочет у министра финансов Канкрин о том, что нельзя ли принять в уплату этого долга 200 душ, принадлежавших лично ему в Нижегородской губернии и заложенных в Московском опекунском совете.

Это печальное финансовое положение не могло не отражаться и на творчестве поэта. И тут мы видим весьма прискорбное раздвоение: в то

время как Пушкин более чем когда-либо ратовал за чистое и свободное искусство и восклицал надменно презренной черни: “Подите прочь, какое дело поэту мирному до вас”, – в действительности литературная деятельность его с каждым годом все более и более принимала спекулятивный характер и вся обращалась к тому, как бы добыть более денег. Конечно, не ради “звуков чистых и молитв” предпринимал он обширные исторические труды вроде “Истории Пугачевского бунта” или “Истории Петра Великого”, – труды, так мало свойственные его гению и потому крайне слабые, сухие, в которых вы и следа не видите того, что вы привыкли соединять с именем Пушкина. Это же желание добыть как можно более денег побуждало его взяться за какое-нибудь периодическое издание. Так, сначала он мечтал о газете, но когда газета не была ему разрешена, предпринял в последний год жизни ежемесячный журнал “Современник”. Цель издания журнала была, по-видимому, весьма почтенная: именно “противодействовать тому легкомысленно насмешливому, парадоксальному взгляду на литературу нашу, который господствовал в то время в петербургской журналистике, особенно на страницах “Библиотеки для Чтения”; возратить критику снова в руки малого избранного кружка писателей, уже облеченного уважением и доверенностью публики”. Но сквозь все эти чисто литературные цели постоянно проглядывает надежда поправить свое состояние.

Вообще, весьма грустное впечатление производил этот гениальный человек, которому поклонялась вся Россия, затертый в блестящей толпе расшитых мундиров, в качестве выскочки, глотающий поминутно если не пренебрежение, то еще того хуже – снисходительность, с тоскливой скукой одиноко бродящий по бальным залам или вззирающий из-за колонны, как увиваются светские франты за его женою. Она отплясывает, разодетая в пух и прах, веселая и беспечная, а у него в это время кошки скребут на сердце, и не от одной ревности, а при мысли, что вот все вокруг веселятся, счастливые, довольные, обеспеченные, не думая о завтрашнем дне, а ему предстоит завтра ехать в опекунский совет закладывать последнее имение или вести торгашеские переговоры с литературными барышниками. Нет ничего мудреного, что все письма его в последние два-три года жизни, особенно к жене, постоянно носят характер каких-то стонов, как об этом можно судить по следующим выдержкам.

“Хлопоты по имению меня бесят, – пишет он в одном письме, – с твоего позволения, надобно будет, кажется, выйти мне в отставку и со вздохом сложить камер-юнкерский мундир, который так приятно льстил моему честолюбию и в котором, к сожалению, не успел я пощеголять. Ты

молода, но ты уже мать семейства, и я уверен, что тебе не труднее будет исполнить долг доброй матери, как исполняешь ты долг честной, доброй жены. Зависимость и расстройство в хозяйстве ужасны в семействе, и никакие успехи тщеславия не могут вознаградить спокойствия и довольства. Вот тебе и мораль”. “Милый мой ангел! – пишет он в другом, – я было написал тебе письмо на четырех страницах, но оно вышло такое горькое и мрачное, что я его тебе не послал, а пишу другое, у меня решительно сплин.^[13] Скучно жить без тебя и не сметь даже писать тебе все, что придет на сердце. Ты говоришь о Болдине. Хорошо бы туда засесть, да мудро. Об этом успеем еще поговорить. Не сердись, жена, и не толкуй моих жалоб в худую сторону. Никогда не думал я упрекать тебя в своей зависимости. Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив; но я не должен был вступать в службу и, что еще хуже, опутать себя денежными обязательствами. Зависимость жизни семейственной делает человека более нравственным. Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня, как на холопа, с которым им можно поступать, как им угодно. Опала легче презрения. Я, как Ломоносов, не хочу быть шутком ниже у Господа Бога. Но ты во всем этом не виновата, а виноват я из добродушия, коим преисполнен до глупости, несмотря на опыты жизни”.

...“Я перед тобой кругом виноват в отношении денежном. Были деньги – я проиграл их. Но что делать? я так был желчен, что надобно было развлечься чем-нибудь. Все тот виноват; но Бог с нами; отпустил бы лишь меня восвояси”.

...“На днях я чуть было беды не наделал: с тем чуть было не поссорился – струхнул-то я, да и грустно стало. С этим ссорюсь – другого ненавижу. А долго на него сердиться не умею, хоть он и не прав”...

...“Канкрин шутит – а мне не до шуток. Г. обещал мне газету, а тот запретил, заставляет меня жить в ПБ и не дает мне способа жить своими трудами. Я теряю время и силы душевные, бросаю за окошко деньги трудовые и не вижу ничего в будущем. Отец мотает имение без удовольствия, как без расчета; твои теряют свое от глупости и беспечности покойника Аф. Ник. Что из этого будет, Господь ведает”...

...“Как ты с хозяином управилась? Что дети? Экое горе! Вижу, что непременно нужно иметь мне 80 тысяч дохода. И буду их иметь. Недаром же пустился в журнальную спекуляцию, а ведь это все равно, что золотарство, которое хотела взять на откуп мать Безобразова: очищать русскую литературу, чистить... и зависеть от полиции. Того и гляди, что... Черт их побери! У меня кровь в желчь превращается...”

Прибавьте ко всем этим неприятностям нескончаемые полицейские и цензурные дразги. Дело в том, что ни приближение ко двору, ни все изливаемые на Пушкина высочайшие милости не избавляли его от строгого полицейского надзора. По-прежнему относительно всех своих занятий и каждого шага он должен был испрашивать предварительное разрешение, по-прежнему прочитывалась его переписка, и граф Бенкендорф делал ему выговоры. То придирались к нему, зачем он ограничивается одною общею цензурою, в то время, как он подчинен высочайшей цензуре, то, наоборот, требовали, чтобы сочинения, одобренные к напечатанию самим государем, он затем представлял в общую цензуру. Поэма его “Медный всадник” не была допущена к печати, и при жизни ему не пришлось видеть ее напечатанною. Благодаря графу Бенкендорфу, от которого, безусловно, зависело допущение пьес на сцену, Пушкину не удалось видеть ни одной своей пьесы на сцене. Он очень желал, чтобы А.М. Каратыгина с мужем своим прочитала в театре сцену у фонтана Дмитрия с Мариною, но, несмотря на многочисленные личные просьбы Каратыгиных, граф Бенкендорф отказал им в своем согласии. После того Пушкин подарил Каратыгину для бенефиса “Скупого рыцаря”, но и эта пьеса не была играна при жизни автора по каким-то цензурным недоразумениям.

Но особенно увеличались цензурные придирки и неприятности, когда в 1833 году министром народного просвещения был сделан граф Уваров, относившийся к Пушкину весьма недружелюбно. Распоряжения его выводили Пушкина из себя, и чаша гнева его окончательно переполнилась, когда однажды на вечере у Карамзина к нему подошел Уваров и по поводу ходившей в то время по рукам эпиграммы “В Академии наук” свысока и внушительно начал выговаривать, что он роняет свой талант, осмеивая почтенных и заслуженных людей такими эпиграммами. “Какое право имеете вы делать мне выговоры, когда не смеее утверждать, что это мои стихи?” – возразил Пушкин, выйдя из себя. – “Но все говорят, что ваши!” – “Мало ли, что говорят! а я вам вот что скажу: я на вас напишу стихи и напечатаю их с моею подписью”.

И вот когда Уваров захворал, а наследник его, предполагая близкую смерть министра, позаботился заранее опечатать его имущество и посрамился на всю столицу при неожиданном его выздоровлении, Пушкин на эту скандальную историю написал стихи под заглавием “На выздоровление Лукулла (Подражание латинскому)”. Ни один петербургский журнал не согласился напечатать эти стихи. Тогда Пушкин послал их в Москву, и там ода была напечатана во 2-й сентябрьской книжке “Московского наблюдателя” 1835 года. Появление оды вызвало большую сенсацию в придворных сферах и привело за собою немало неприятностей Пушкину, начиная с оскорбительной переписки с князем Репниным, дурно отозвавшимся о Пушкине как о человеке в салоне Уварова, и кончая неудовольствием самого государя. Пушкин был тотчас же вызван к графу Бенкендорфу. Вот как сам он рассказывал этот свой визит к шефу жандармов:

“Вхожу. Граф с серьезной, даже со строгой миной, впрочем, учтиво ответив на мой поклон, пригласил меня сесть у стола *vis-a-vis*. Журнал с развернутой страницей моих стихов лежал перед ним, и он сейчас же предъявил мне его, сказал: “Александр Сергеевич! Я обязан сообщить вам неприятное и щекотливое дело по поводу вот этих ваших стихов. Хотя вы и назвали их Лукуллом и переводом с латинского, но согласитесь, что мы, да и все русское общество в наше время настолько просвещено, что умеем читать между строк и понимать настоящий смысл, цель и намерение сочинителя!” – “Совершенно согласен и радуюсь за развитие общества”...– “Но позвольте заметить (строго перебил он меня), что подобное произведение недостойно вашего таланта тем более, что осмеянная вами личность – особа значительная в служебной иерархии”...– Тут я перебил его:– “Но позвольте же узнать, кто эта жалкая особа, которую вы узнали в моей сатире?” – “Не я узнал, а Уваров сам себя узнал, принес мне жалобу и просил обо всем доложить Государю! и даже то, что вы у Карамзиных сказали ему, что напишете на него стихи и не отопретесь, то есть подпишетесь под ними!” – “Сказал, и теперь не отпираюсь... только эти-то именно стихи я написал совсем не на него”. – “А на кого же?” – “На вас!” – Бенкендорф, пораженный таким неожиданным оборотом, опрокинулся на спинку кресла, так что оно откатилось от стола, и, вытаращив на меня глаза, вскрикнул:– “Что? на меня?” А я, заранее восхищаясь

развязкой, вскочил с места и быстро делая по четыре шага перед столом или перед его носом, три раза оборачиваясь к нему лицом, повторял: “На вас, на вас, на вас!” Тут уже Александр Христофорович, во всем величии власти, громовержцем поднимаясь с кресла, схватил журнал и, подойдя ко мне, дрожащей от злобы рукой тыкая на известные места стихов, сказал: – “Однако послушайте, сочинитель! Что же это такое! Какой-то пройдоха наследник... (читает): “Теперь уж у вельмож не стану нянчить ребятишек”... Ну, это ничего... (продолжает читать): “Теперь мне честность – трын-трава, жену обманывать не буду!” – Ну, и это ничего, вздор... но вот, вот ужасное, непозволительное место (читая): “И воровать уж не забуду казенные дрова!” – “А! что вы на это скажете?” – “Скажу только, что вы не узнаете себя в этой колкости!” – “Да разве я воровал казенные дрова?” – “Так, стало быть, Уваров воровал, когда подобную улику принял на себя!” – Бенкендорф понял силлогизм, сердито улыбнулся и промычал: “Гм! да! сам виноват!” – “Вы так и доложите государю. А за сим имею честь кланяться вашему сиятельству”.

Наконец ко всему этому присоединились и неприятности чисто литературные. Подписка на “Современник” шла плохо. Пушкин замечал вообще охлаждение к нему в литературных сферах. Кое-где в журнальной критике начинали проскальзывать опасения, что он исписался, и при нервной раздражительности Пушкин глубоко принимал к сердцу все эти толки и выходил из себя. И вот перед смертью у него все более и более развивается отвращение к жизни. “Я ошеломлен, – писал он осенью Осиповой незадолго до своей смерти, – и нахожусь в сильнейшем раздражении. Поверьте мне, жизнь, какая она ни на есть приятная привычка, а все же заключает в себе горечь, которая делает ее под конец отвратительною. Свет – это гадкая лужа грязи”.

Таким образом все обстоятельства, по-видимому, прямо вели поэта к какой-либо катастрофе, особенно, принимая в расчет пылкость и увлекаемость его натуры. Между тем в великосветском обществе образовалась против Пушкина целая коалиция с графом Уваровым и Бенкендорфом во главе: ожидали только случая, чтобы так или иначе погубить его, и случай этот не замедлил представиться: достаточно было, правда, несколько легкомысленного, но совершенно невинного ухаживания за женою Пушкина блиставшего в то время в большом свете красивого,

ловкого, вкрадчивого кавалергарда, барона Жоржа Геккерна Дантеса, французского подданного, легитимиста, состоявшего под особенным покровительством императора Николая, – и вот в свете была распущена по этому поводу гнусная сплетня, позорившая честь Пушкина. В то же время Пушкин начал получать ряд отвратительных анонимных писем, исполненных оскорбительнейших намеков и насмешек. Результатом этой адской интриги была ссора Пушкина с Дантесом, разделившая все великосветское общество на два лагеря. Ссора эта не была потушена и женитьбою Дантеса на свояченице Пушкина, Катерине Николаевне Гончаровой. Напротив того, все более и более разгораясь, разжигаемая недоброжелателями Пушкина, дошла наконец до дуэли, которая состоялась 27 января 1837 года за Черной речкой, близ Комендантской дачи, в пятом часу дня. По словам секунданта Пушкина, лицейского товарища его Данзаса, граф Бенкендорф знал об этой дуэли, но, обязанный предупредить ее, он послал жандармов не на Черную речку, а в Екатерингоф, будто бы по ошибке. Пушкин был, как известно, смертельно ранен в верхнюю часть бедра, причем пуля, пробив кость, глубоко засела в животе. Два дня боролся он со смертью, в ужасных мучениях, и наконец 29 января утром его не стало.



Место дуэли Пушкина с Дантесом



Дуэль Пушкина с Дантесом 27 января 1837 года (с картины Наумова)

Между тем весть о несчастной дуэли и безнадежном состоянии Пушкина быстро разлетелась по городу. Уже рано утром, когда Пушкин был еще жив, подъезд его квартиры на Мойке у Певческого моста был атакован публикой до такой степени, что Данзас должен был обратиться в Преображенский полк с просьбой поставить у крыльца часовых, чтобы восстановить какой-нибудь порядок: густая масса собравшихся загоразивала на большое расстояние все пространство перед квартирой Пушкина, и к крыльцу не было возможности протиснуться. Толпы народа и экипажи весь день осаждали дом; извозчиков нанимали, просто говоря “к Пушкину”, и извозчики везли прямо туда. Все классы петербургского народонаселения, даже люди безграмотные, считали как бы своим долгом поклониться телу поэта.



Пушкин в гробу



Гипсовая маска, снятая с лица Пушкина

Это было похоже на очнувшееся вдруг общественное мнение. Университетская и литературная молодежь решила нести на руках гроб до церкви. Стихи молодого поэта Лермонтова на смерть Пушкина переписывались в десятках тысяч экземпляров, перечитывались и выучивались наизусть всеми. Возникли опасения, и тело поэта из квартиры в Конюшенную церковь было проведено вечером; при отпевании 1 февраля присутствовали одни приглашенные по билетам. После отпевания гроб заперли в подвал церкви, где он оставался до 3 февраля, а в этот день поздно ночью гроб был отправлен в Святогорский-Успенский монастырь в сопровождении жандармов и А. И. Тургенева, которому было поручено совершить погребение праха поэта. Прах был похоронен возле матери, в той могиле, которую Пушкин приготовил для себя за год до смерти. Там возвышается ныне надгробный памятник из белого мрамора с надписью “Александр Сергеевич Пушкин” в лавровом венке.

Пушкин умер, не оставив после себя ничего, кроме долга в 50 тысяч руб. Но, сверх того, что на похороны ему было отпущено 10 тысяч руб. ассигнациями, при кончине его весь казенный долг был снят с имений наследников и сверх того высочайше пожаловано было 50 тысяч руб. ассигнациями на напечатание его сочинений, сбор с которых определен был на составление отдельного капитала для детей покойного. Тогда же и два сына его зачислены были в Пажеский корпус, и как им, так и вдове

поэта назначены пенсии.

В 1880 году 5 июня Москва праздновала открытие на одном из лучших своих бульваров, на Тверском, памятника гениальному и бессмертному поэту, которым могла бы достойно гордиться каждая страна, и это всенародное литературное торжество, собравшее у ног поэта всю русскую интеллигенцию, бесспорно, занимает одну из лучших страниц русской истории.



По рис. Соколова, 1836



По рис. Райта, 1836



По рис. Львова, 1837



По рис. Калинина, 1837



С гравюры Уткина, 1838



Санглийской гравюры, 1839



По рис. Ж.Верне, 1820



По рис. Тропинина, 1827



По рис. Кипренского, 1827



По гравюре Уткина, 1828



По рис. Мазера



По рис. Брюллова, 1836
(с 1827 года)

Копии с различных портретов Пушкина

notes

Примечания

1

Заложник, которого дают в обеспечение договора у мусульман (*араб.*).

2

Кутилы (фр.).

Остроумные игры (фр.).

4

Ах, боже мой! (фр.).

5

Пренебрегая, относясь небрежно (*фр.*).

6

Фехтовальное оружие, наподобие сабли, колющее и режущее (фр.).

Ах, это по-рыцарски! (фр.).

Бедняка (*ит.*).

Что не может существовать разумного существа, созидającego и творящего (*фр.*).

10

С этим чудовищем, с этим бесчувственным сыном (*фр.*).

11

Вне закона.

Я предпочитаю быть выпоротым перед всеми (фр.).

Хандра (*англ.*).